Аркадий Гайдар

Жизнь ни во что



Иностранка / Ad Marginem

Жизнь ни во что (Лбовщина)

Аркадий Петрович Гайдар

Аннотация
Аркадий Гайдар. ЖИЗНЬ НИ ВО ЧТО. (Лбовщина)
ЧАСТЬ I
1. О чем ревели гудки Мотовилихинского завода
2. Отчего было скучно Рите Нейберг
3. Тяжелый день титулярного советника Чебутыкина
4. В землянке, занесенной снегом
5. Странное появление…
6. Встреча
7. Этой же ночью
8. Перед бурями
ЧАСТЬ II
9. Схватка
10. О том, как титулярный советник Чебутыкин попал в Хохловку и какие странные вещи вокруг него творились
11. Лбов закуривает папиросу
12. Раскрытое предательство
13. Под покровом ночи
14. О том, как Лбов собирался Пермь брать

15. Ограбление парохода «Анна Степановна»
16. Начало конца
17. Смерть Змея
18. Арест
19. Последняя попытка Риты
20. Казнь
ПРИМЕЧАНИЯ

Аннотация

Повесть «Жизнь ни во что (Лбовщина)» – главное пермское произведение Аркадия Гайдара. Впервые напечатанная в нескольких выпусках газеты «Звезда» зимой 1926-го, повесть описывала революционные события 1905–1908 гг.: уличные бои в Мотовилихе, последующую партизанскую войну в прикамских лесах, арест и казнь «полевого командира» восставших, Александра Лбова в Вятке. Первая «профессиональная» вещь Гайдара, написанная по воспоминаниям очевидцев, вызвала широкий резонанс в регионе и послужила началом его писательской карьеры.

Аркадий Гайдар
ЖИЗНЬ НИ ВО ЧТО

(Лбовщина)

У Пермских лесов, в зеленом шелесте расцветающих лужаек, над гладкой скатертью хрустящего под лыжами снега, под мерный плеск седоватых волн молчаливой гордой Камы, при ярких солнечных блесках зимних дней и при темных тревожных шорохах летних ночей, охваченных кольцом ингушей и казаков,
БЫЛО ВСЕ ЭТО.

Эта повесть — памяти Александра Лбова, человека, не знающего дороги в новое, но ненавидящего старое, недисциплинированного, невыдержанного, но смелого и гордого бунтовщика, вложившего всю ненависть в холодное дуло своего бессменного маузера, перед которым в течение долгого времени трепетали сторожевые собаки самодержавия.

Памяти «разбойника Лбова» и его товарищей: Демона, Грома, Змея, Фомы,

Матроса и многих других, имена которых окутаны уже дымкой легенд по рабочему Уралу.

Памяти тех, которые нападали с криком, умирали со смехом и во время нервных, безрассудно смелых схваток ставили свою собственную
ЖИЗНЬ НИ ВО ЧТО.

ЧАСТЬ I

1. О чем ревели гудки Мотовилихинского завода

Над рекой, над хмурыми берегами застывшей Камы, в пяти верстах от Перми раскинулся по крутым холмам рабочий поселок — Мотовилиха…

В ночь на 13 декабря 1905 года этот поселок никоим образом не мог числиться входящим в состав Великой Российской империи, ибо за день перед этим он плюнул в лицо этой империи свинцом винтовочных пуль, отгородился от нее баррикадами из выломанных заборов и вывороченных ворот и глядел огоньками раскинувшихся домиков.

Чутко всматривался глазами мерзнувших на перекрестках часовых вниз, в темноту, где черная морозная ночь изменчиво прятала темные папахи казачьего отряда.

Рабочие пушечного завода, разбившись на десятки, заняли холмы, заняли перекрестки изломанных улиц, и всю ночь потрескивали и росли скелеты бесформенных, наспех сколоченных заграждений. И торопливо шныряли бессонные тени восставших в эту сумасшедшую по подъему

и по энергии ночь.

У Малой проходной крепко засел десяток эсдеков, на углу Камской выкинули красный флаг эсеры, и в темноте красный флаг казался черным черным крылом трепыхающей птицы.

А на Висиме, на горе, светились костры, то и дело гулко тюхались сваленные бревна.

На Висиме тоже вырастала баррикада, была она тяжела, неуклюжа.

Но крепка и прочна была Висимская баррикада.

— Бросай!.. Раз — бросай!.. Два… Ну, довольно, пока хватит.

Пламя костра, трепыхнувшись от ветра, озарило наваленную груду бревен и лицо высокого черного человека, прислонившегося к одной из вывороченных досок. Человек, видимо, устал возиться с баррикадой, тяжело и часто дыша, он отер рукой мокрый лоб, потом нервно плюнул и подошел к костру.

— Сядь, Сашка, — предложил ему кто-то, — передохни малость, ты ведь, дьявол, еще с самого утра не жрал ничего.

Но черный уставший человек ничего не ответил. Облокотившись на дуло старой берданки, он молча посмотрел вниз, под гору, и процедил

негромко, сквозь зубы:

— Сдохнуть мне, если они завтра легко проберутся сюда.

В ночь на 13 декабря тревожно пели телеграфные провода Пермь Петербург.

В ночь на 13 декабря пермский губернатор не спал. В два часа ему доложили, что хорунжий седьмого Уральского полка Астраханкин и мотовилихинский пристав Косовский ожидают его в приемной.

Губернатор вышел. Он был любезней, чем когда-либо, потому что честное имя хорошего губернатора находилось теперь всецело в руках запаянных в погоны офицеров. Он пожал им руки, но не одинаково, чуть-чуть крепче командиру отряда ингушей — хорунжему Астраханкину и чуть-чуть слабей приставу Косовскому, ибо он мало верил в организованность и боеспособность полиции.

Разговор был короткий и продолжался не более десяти минут, по истечении которых звякнули шпорами каблуки и от крыльца губернаторского дома торопливо умчались санки с рысаками пристава — направо и тени двух всадников — налево.

А с рассветом, застегивая кобуру револьвера и

пробуя напоследок эфес шашки, хорунжий Астраханкин встал и, прежде чем подойти к лошади, задержался на минуту, вынул из бокового кармана карточку молоденькой белокурой девочки в пелеринке Петербургского института благородных девиц, вздохнул и положил ее обратно в карман.

Это было как раз в ту самую минуту, когда на тон стороне черный человек бросил последнее бревно на баррикаду и сказал громко:

— Кончено, ребята! Ну, теперь пусть идут…

И по рыхлому, рассыпчатому снегу поползли темные точки закутанных в башлыки ингушей.

Молча, без выстрелов, по улицам поселка, по перекресткам, по чердакам, по огородам рассыпались засадами рабочие пушечного завода и ждали.

Но так было не долго. Как раз в тот момент, когда пальцы на «собачках» заряженных винтовок напрягались пружинами, когда стало чересчур уж тихо и чересчур нудно, с хрипом и клокотом заревели вдруг гудки молчаливо насупившегося завода и над мертвой Камой, над закамским лесом, над взбунтовавшимся поселком понеслись тяжелым и тревожным эхом.

И назло тишине, назло нудному вою гудков,

гулко треснул нервной дрожью и рассыпался первый выстрел, его поддержал другой, а в ответ сразу, беспорядочным огнем огрызнулись домишки, чердаки и заборы Мотовилихи…

К вечеру баррикады смолкли, и казаки врывались уже на улицы, и разбитые боевые дружины торопливо разбегались прочь.

В это время у черного человека был распахнут ворот замасленной блузы, и на голове у него не было шапки, и крепкими гайками были стиснуты губы. Он остановился у ворот какой-то хибарки, заложил последний патрон и быстро оглянулся: на пустой улице никого не было. Бешеная усмешка перекосила его крепко завинченные губы, он бросился налево и за углом, почти лицом к лицу, столкнулся с конно-жандармским патрулем.

— Стой! — крикнул один, блеснувши шашкой, — бросай винтовку, чертов сын.

Черный человек грохнул в упор из берданки в нападавшего стражника, огромным прыжком вскочил на забор и крикнул оттуда:

— Ваша взяла покуда, сволочи, но мы еще не кончили!

Пуля взвизгнула над забором и пронеслась мимо, за Каму, потому что человек отпрыгнул и кубарем скатился по крутому склону, по снегу,

вниз.

— Вот дьявол, — удивленно проговорил один из стражников, — и как сиганул. Кто это?

Среди обширного списка арестованных по делу «вооруженного восстания в Мотовилихе» не значилось одного из ее деятельных участников — рабочего орудийного цеха Александра Лбова. Несколько раз полиция получала сведения, что он скрывается в Мотовилихе, несколько раз жандармы делали засаду в квартире его жены, но все безрезультатно.

Однажды ночью, когда полицейский офицер постучался в дверь, оттуда раздался выстрел, затем звякнуло вышибленное с рамой окно, и мимо одного из стражников промелькнула тень, которая, невзирая на поднявшуюся стрельбу, скрылась за поворотом.

Была морозная, туманная ночь, когда по придавленному поселку после восстания гулко ахнуло несколько винтовочных выстрелов. Их тревожное эхо долетело до спящих, и жена одного из рабочих, испуганно вскакивая с кровати, дернула за руку мужа.

— Вставай, Николай, Колька… Да вставай же, черт окаянный, слышь, стреляют.

Тот повернул голову и спросил сонным, бес-

смысленным голосом:

— Куда?

— Да встань же ты, идол. Почем я знаю, куда? Господи, да что же это такое делается?!

Но выстрелы затакали так тревожно и так близко, что Николай Смирнов вскочил и, поспешно натягивая штаны, проговорил быстро:

— Ворота-то у нас заперты? Сбегай-ка посмотри. Да не зажигай огня, дура, о стражниках, что ли, соскучилась! Постой, дай-ка ключ от шкафа, там у меня бумаги кой-какие, так выбросить в сугроб пока надо, а то не равно, как жандармы.

В темноте ключ никак не попадал в скважину, тем более что рука слегка дрожала. Наконец дверца распахнулась, он только что протянул руку за бумагами, как жена его вскрикнула, а сам он вздрогнул, побледнел и застыл на месте: в окошко кто-то стучал.

— Кто там? — шепотом спросила его жена.

— Не знаю, — ответил Николай, — должно быть, полиция. Нет, это не полиция, — добавил он, вскакивая, — это кто-нибудь из наших.

Стук повторился. Быстрый, но не громкий. В нем была нервная торопливость, но не было властной грубости жандармского кулака.

— Кто здесь? — через окошко спросил Смирнов,

вглядываясь в темный силуэт человека. И, не дождавшись ответа, удивленно вскрикнул, бросился в сени и торопливо открыл дверь.

— Чего, черт, долго как канителился? — чуть-чуть прерывающимся от усталости, но спокойным голосом спросил пришедший.

— Лбов! — удивленно крикнул Смирнов. — Александр, язви тебя в душу! Откуда ты взялся?

— После, — махнул рукой тот, — после. — И сам оглянулся, вышел в сени, задвигал чем-то, потом опять вернулся назад.

— Кадушку с капустой к двери придвинь. Запор у тебя плохой, враз сорвать можно. — Потом помолчал и добавил: — Ты сделай себе хороший запор, а то, знаешь, если погибать, так чтобы было за что, а так, из-за ржавого крючка пропадать, не стоит.

Зажгли коптилку, и ее свет озарил угрюмо насупившего лицо Лбова, и ее красные лучи смешались с кровью, расплывшейся по изрезанной стеклом руке, рубиновыми искорками падающей на пол… Но Лбов как бы ничего не чувствовал, он сел у окна и, уставившись в темный угол, долго сидел молча, и только глаза его, при малейшем шорохе быстро поворачиваясь в сторону, тяжелым, долгим взглядом пронизывали темноту.

— Кончено, — сказал он наконец вполголоса и как будто бы чуть-чуть усмехнулся.

— Что кончено? — спросил его Смирнов.

— Все, брат, кончено. И восстание окончено, и моя голова тоже теперь конченая, потому что ворочаться назад поздно, да и охоты никакой нет ворочаться назад. Каждый день гудок, да каждый День станок — и так без начала и без конца.

Он замолчал.

Рассвет не приходил долго. С рассветом в избу пришло еще несколько человек, пришли товарищи, уцелевшие из партийного подполья, пришел и молчаливый Стольников, загнанный, затравленный, разыскиваемый полицией. И долго обсуждали, как быть и что теперь делать.

Было решено — на время горячки отправить пока Лбова и Стольникова в лес, в одну из сторожек верстах в десяти от Мотовилихи.

— В лес так в лес, — усмехнулся Лбов, — а только, я думаю, что теперь уж не на время, а на все время.

— Как так? — спросил кто-то.

— А так.

И он опять усмехнулся. У него была странная, быстрая усмешка: глаза его сразу чуть-чуть щурились, губы плотно, рывком, сжимались, и, прежде

чем можно было уловить оттенок выражения его лица, все было на своем месте, и от усмешки не оставалось и следа.

— Слушай, Лбов, — спросил его один из подпольщиков, — скажи по правде, какой партии ты считаешь себя?

— Я за революцию, — коротко ответил он и замолчал.

— Ну мало ли кто за революцию — и большевики, и даже меньшевики, но это же не ответ.

— Я за революцию, — коротко и упрямо повторил он, — за революцию, которую делают силой. И за то, чтобы бить жандармов из маузера и меньше разговаривать… Как это, ты читал мне в книге? — обратился он к одному из рабочих.

— Про что? — спросил тот, не понимая.

— Ну, про эти самые… про рукавицы… и что нельзя делать восстания, не запачкавши их.

— Да не про рукавицы, — поправил тот, — там было написано так: «революцию нельзя делать в белых перчатках».

— Ну вот, — тряхнул головой Лбов, — я за это самое «нельзя». Поняли? проговорил он, вставая, и рукой, разрисованной узорами запекшейся крови, провел по лбу. — Вот я за это самое, — повторил он резко и точно возражал кому-то. — И

если бы все решили заодно, что к чертовой матери нужна жизнь, если все идет не по-нашему… если бы каждый человек, когда видел перед собой стражника, или жандарма, или исправника, то стрелял бы в него, а если стрелять нечем, то бил бы камнем, а если и камня рядом нет, то душил бы руками, то тогда давно конец был бы этому самому… как его. — Он запнулся и сжал губы. Посмотрел на окружающих. — Ну, как же его? — крикнул он и чуть-чуть стукнул прикладом винтовки об пол.

— Капитализму, — подсказал кто-то.

— Капитализму, — повторил Лбов и оборвался. Потом закинул винтовку за плечо и сказал с горечью: — Эх, и отчего это люди такие шкурники? Главное, ведь все равно сдохнешь, ну так сдохни ты хоть за что-нибудь, чем ни за что.

Был рассвет, когда конный разъезд стражников увидел возле того берега Камы быстро скользящие на лыжах две фигуры Это Лбов и Стольников уходили в лес. Из-за глубокого снега гнаться на конях за беглецами было нельзя. Стражники прокричали, погнались по берегу, дали вдогонку несколько бесцельных выстрелов и успокоились.

Солнце зимними красными лучами прорезало

верхушки окаменевшего леса как раз в ту минуту, когда две тени остановились и, обернувшись, посмотрели еще раз назад. Туда, где туманный город и каменные стены, где у каменных стен губернаторский дом с трехцветным флагом, а под трехцветным флагом — казачий хорунжий Астраханкин с карточкой белокурой девицы на груди и с сотней ингушей за собой. Туда, где, скрепленный раззолоченными винтиками чиновничьих пуговиц, улыбался город уютными занавесочками морозных окон.

И две тени молча усмехнулись и исчезли в лесу…

2. Отчего было скучно Рите Нейберг

На безымянном пальце Риты блестело кольцо — простое кольцо из червонного золота с большой каплей крови, внутри которой светился огонек. Из-за этой рубиновой безделушки Рита уже несколько раз ссорилась с отцом, потому что он считал дурным тоном носить умышленно грубо сработанное кольцо на пальцах двадцатилетней девушки, к тому же только недавно окончившей Петербургский институт.

Пальцы у Риты — тонкие и длинные, а лицо — матовое. Рита умеет замечательно командовать своим лицом Например, сегодня, когда она вышла к обеду, то отец чуть не вздрогнул, взглянув на ее глаза, и спросил с испугом:

— Что с тобой, моя детка?

Но Рита ничего не ответила И только тогда, когда он повторил вопрос три раза и покраснел даже от волнения, она проговорила, не глядя ему в глаза, не глядя на стены и вообще никуда не глядя:

— Мне скучно.

— Ну, вот, вот еще, — сразу повеселев, заговорил отец, — как это так, молодой девушке может

быть скучно? Послушай, Юрий, — обратился он к вошедшему молодому гвардейцу, своему сыну, — послушай, — и он удивленно и ласково пожал плечами, — ну отчего бы ей могло быть скучно?

— Замуж охота, вот и скучно, — ответит тот. — Тут, папаша, такая пора; я знал одну польку, так она шестнадцати лет…

— Ты дурак, Юрий, и пример у тебя всегда дурацкий, а вдобавок ты имеешь несчастье повторяться по десять раз! — вспыхнула Рита.

Кожа на ее щеках стала еще смуглей, и белые зубы сердито сверкнули через прорез гибких, изломанных стрелочками губ.

К обеду пришел хорунжий Астраханкин, он сел рядом с Ритой и рассказал ей пару забавных анекдотов, смысл которых, кстати сказать, Рита так и не поняла. И потом, очевидно желая сказать ей что-то приятное, наклонившись, на ухо сказал вполголоса:

— Знаете, Рита, когда я на днях вспомнил вас, почти что перед самой перестрелкой с мотовилихинскими бунтовщиками, я вынул вашу карточку и, знаете, что с ней сделал?

— Привязали к темляку вашей шашки? — насмешливо спросила Рита.

— Нет, — он наклонился к ней еще ближе, — я

поцеловал ее, и это вдохновило меня.

Но Рита терпеть не могла умышленного подчеркивания интимности, она откинула голову назад и спросила громко, исключительно назло ему:

— А на что тут было вдохновляться? Говорят, у них патронов вовсе не было, а потом стреляли они из каких-то допотопных ружей. И скажите, пожалуйста, — добавила она вдруг резко, — что это за манера таскать карточку на разные жандармские операции?

Астраханкин ничего не ответил, он покраснел и почувствовал, что Рита обращается с ним, как со школьником, медленно повернул голову, положил руку на эфес отделанной серебром кавказской шашки и подумал: что бы такое сделать для того, чтобы заставить Риту увидеть в нем хорунжего седьмого Уральского полка, а не гимназиста последнего класса? Он откашлянулся, собираясь сказать что-нибудь умное, но по какой-то странной случайности умного в голову, как назло, ничего не приходило, а все лезла одна ерунда.

Но его выручил молодой гвардеец, который, прожевывая кусок ростбифа, спросил его:

— А скажите, у казачьего седла стремена на два или на три пальца подаются вперед?

— На два, на два, — ответил тот, довольный, что нашел тему для интересного разговора. — Но у меня, например, на три — это красивей. Конечно, тут большую роль играет, насколько подтянут джигитник, и потом, если кобыла, например, жеребая…

Рита гневно взглянула на хорунжего и встала.

Она ушла к себе в комнату и попробовала читать новый роман, который вчера горячо расхваливала ей кузина. Но с первых же строк роман оскалился игриво-слащавой улыбкой и на вторую минуту, отброшенный с силой, полетел в угол.

Рита подвинула к себе местную газету, где бросилось ей в глаза объявление о том, что «молодой человек, холостой, ищет место управляющего».

«Боже мой, как все скучно, — подумала Рита, — неужели же нет ничего нового?..»

Она уже собралась закрыть газету, как взгляд ее упал на маленькую, короткую заметку, в ней говорилось, что на днях жандармы обстреляли двух неизвестных, которым удалось все же скрыться на лыжах в лесу.

Рита зажмурила глаза, не закрыла, а именно зажмурила и представила себе холодный, шелковый пух снега, окаменевшие вместе с тишиной деревья и две тени, беззвучно и легко скользящие

по снегу, — вот где, должно быть, дышать хорошо. Воздух такой морозный, тихий. Рита вдохнула в себя, и в голову ей ударил запах пряно-муторных духов, она сверкнула глазами и увидела перед собой Юрия и Астраханкина.

— Кто вам позволил приходить сюда не постучавшись? — рассерженно спросила она.

— Не горячись, сестрица, — лениво перебил ее гвардеец, — мы пришли спросить тебя, будешь ты сегодня на балу у прокурора?

— Нет, не буду, — ответила Рита, быстро соскакивая с дивана, — и вообще… — окидывая обоих недовольным взглядом, она добавила: — И вообще, отстаньте вы от меня.

Она повернулась и хотела выйти, и вдруг мягкая улыбка скользнула по ее лицу, она посмотрела на Астраханкина и сказала ему капризно:

— Знаете что, я хочу, чтобы вы достали лыжи: и мне, и себе, и ему. Ни зачем. Хочу, вот и все. Мы будем кататься.

Астраханкин, обрадованный таким счастливым оборотом дела, щелкнул каблуками, рассыпаясь весь в звонах кинжала, шашки, шпор, и сказал, изгибаясь:

— Ваше желанье — для меня закон.

Когда они вышли, Рита уселась на диван, и

в глаза ей опять попалась та же коротенькая заметка. Она повернула голову к стеклу и долго смотрела на причудливые узоры замерзшего окошка. И по какой-то неведомой ассоциации ей вспомнились почему-то сначала гладкий, напомаженный пробор гвардейца, потом эффектные, но истасканные фразы хорунжего Астраханкина, потом сумрачно-седой, молчаливый до тайны закамский лес и две темные, куда-то и зачем-то убегающие тени.

И в первый раз за весь день Рите Нейберг стало по-настоящему скучно.

3. Тяжелый день титулярного советника Чебутыкина

Это был замечательный день. На продолжении тридцати пяти лет жизни у служащего пермского почтамта титулярного советника Феофана Никифоровича Чебутыкина не было такого яркого и насыщенного всевозможными событиями дня.

Даже тогда, когда его жена родила двойню, даже тогда, когда внезапно с перепугу умерла его теща, — даже те замечательные дни бледнеют перед тем, что случилось за сегодняшние какие-нибудь пятнадцать часов.

Во-первых, в девять утра, едва он пришел в почтамт и прежде чем он успел раздеться, сослуживцы обступили его с поздравлениями, столоначальник подозвал к себе и показал ему бумагу, в которой значилось, что государь император за беспорочную службу жалует его, Чебутыкина, бронзовой медалью для ношения ее на груди.

Справедливость требует отметить, что, получивши такую грамоту, Чебутыкин возгордился давно ожидаемой монаршей милостью. Но та же

самая справедливость заставляет отметить и то, что препроводительная бумага из губернского правления сильно охладила его пыл, ибо в ней говорилось, что стоимость этой медали, а именно один рубль и сорок копеек имеют быть удержанными из его тридцатирублевого оклада.

И в душе чиновника мелькнула некая крамольная мысль такого рода, что неужели у государя императора без этих «1 руб. 40 коп.» образуется в казне дефицит и какой же это, с позволения сказать, подарок, когда за него деньги берут да еще втридорога, ибо кругленькому кусочку бронзы и маленькой ленточке полтинник красная цена?

Но так как особа государя императора стояла в его глазах выше всяких подозрений, то Чебутыкин взроптал на окружающих его министров и вообще на сильных мира сего, обвиняя их в стяжательстве и корыстолюбии Вслух же высказал своему соседу, канцеляристу Епифанову, пожелание, чтобы та сквалыжная душа, которая выдумала этот вычет, подавилась этим самым рублем и сорока копейками.

Но канцелярист Епифанов, будучи человеком положительным, а также желая установить хорошие отношения с начальством, доложил об этих возмутительных словах начальнику стола,

начальник стола — начальнику отделения, начальник отделения — начальнику почтамта, и через двадцать минут перепуганного Чебутыкина вызвали к самому.

Через тридцать же он вышел оттуда красный и взволнованный, а через сорок в очередном приказе по учреждению «за дерзостные отзывы о начальствующих лицах и за своевольные политические рассуждения» титулярному советнику Чебутыкину был объявлен строгий выговор с предупреждением.

«Господи, да что же это такое, — думал ошарашенный Чебутыкин, пятнадцать лет сидел без всякого внимания, и вдруг за один день и награда, и выговор? А, главное, какая несправедливость».

И в первый раз за [все] время Чебутыкин, сильней чем обыкновенно, ткнул штемпелем по конверту и, почувствовав себя глубоко обиженным, подумал про себя: «Да… теперь я вижу, кто плодит революционеров. Поневоле тут станешь…»

Но тут он оборвался, потому что столоначальник пристально смотрел на него. И побледневший Чебутыкин возблагодарил господа за то, что столоначальник чужие письма читать может, но чужих мыслей читать ему еще не дано.

В два часа бубенцы почтовой пары зазвенели у крыльца. Чебутыкин надел поверх форменной шинели казенный тулуп, доходивший ему до пяток, поднял воротник, выставившийся на пол-аршина над его головой, и, захватив почтовую сумку, сел в широкие, выложенные сеном сани.

Бубенцы зазвякали, сани запрыгали по ухабам пермских улиц. Потом, за городом, когда дорога пошла ровнее, Чебутыкин, подавленный событиями прошедшего дня, свесил голову и задремал. Он чуть было не проснулся от сильного толчка, но решил, что, должно быть, ямщик остановился, повстречавшись с кем-нибудь, тем более что сквозь сон услышал несколько отрывистых фраз И опять закрыл глаза, а когда сани тронулись, задремал еще крепче, так и не разобравши, в чем дело.

Прошло еще некоторое время, сани вдруг опять резко остановились. Чебутыкина сильно тряхнуло, он высунул голову из воротника и спросил, недоумевая:

— Что тут такое?

Перед Чебутыкиным стояли три жандарма, они заглянули в сани, один ткнул даже ножной шашки в сено и спросил, не встречался ли им кто-либо в пути?

Но Чебутыкин ответил, что он ничего не видел, так как немного задремал, может быть, ямщик кого-нибудь видел?

А ямщик ответил, что действительно видел каких-то двух человек по дороге не очень далеко отсюда и что люди те махали ему рукой, чтобы он остановился, но он решил лучше не останавливаться.

Услышав такое сообщение, жандармы, вскочив на коней, умчались дальше, оставив Чебутыкина в немалом беспокойстве и волнении.

— Что такое, кого они ищут? — спросил он кучера. — Да чего же ты молчишь, дурак?!

— Кого-нибудь уж ищут, — уклончиво ответил возница. — Такое уж их дело.

При звуке этого голоса Чебутыкин вздрогнул и посмотрел на кучера.

«Что такое, — подумал он, потирая себе виски, — как будто, когда я выезжал, кучер был у меня ростом меньше и вроде как волосы у него были рыжие, а этот — гляди-ка…»

— Послушай, добрый человек, — с невольным смущением проговорил Чебутыкин после нескольких минут быстрой езды, — послушай-ка, куда ты так гонишь, и скажи на милость: откуда ты взялся?

Но кучер не отвечал ничего, он с бешенством нахлестывал лошадей, сани неслись по дороге, перепрыгивая через ухабы так, что Чебутыкину невольно стало страшно.

— Послушай-ка! — крикнул он и замолчал, потому что человек обернулся и ответил ему резко:

— Сиди смирно, а не то получишь.

И душа у Чебутыкина сделалась маленькой, едва не выпорхнула из саней, потому что черный человек распахнул полу овчинной шубы и из-за пояса выглянул длинный и холодный револьвер.

Когда из-за лесной гущи вырвались вдруг навстречу домики поселка, ямщик обернулся, натянул левой рукой вожжи и, сдерживая бег лошадей, сказал Чебутыкину:

— Войдем сейчас в избу, и чтоб ни слова. Понял? — и локтем слегка пожал чуть-чуть оттопыривающийся правый бок шубы, а душа у ошарашенного Чебутыкина стала опять маленькой-маленькой.

В почтовой избе было людно и накурено. Через клубы густого пара Чебутыкин увидел пьющего чай стражника, возле которого оживленно разговаривало несколько человек.

Чебутыкин сделал было шаг, но в ту же секунду почувствовал, что локоть его попал в какие-то

завинчивающие тиски. Он едва не вскрикнул от перепуга и остановился.

— Почта? — спросил стражник, окидывая взглядом форменную фуражку Чебутыкина. — А скажите, господин, с вами за дорогу ничего не случалось?

— Ничего, ничего, — ответил он придавленным голосом.

— А скажите, не повстречались ли вам конные жандармы?

— Повстречались.

— И никого они с собой не вели?

Услыхав, что стражники никого не захватили и что с почтой ничего особенного не случилось, стражник удивленно пожал плечами и пробормотал про себя что-то вроде того: «Да куда же эти черти делись?»

Чебутыкин опять хотел крикнуть, что хотя почту никто не обобрал и сумка у него в руках, но что это видимость одна, потому что…

Но локоть опять начал зажиматься в клещи ямщиковой пятерни, и ямщик сказал ему тихо на ухо:

— Давай, едем.

Чебутыкин беспомощно посмотрел на пьющего чай стражника и, понурив голову, направился

к выходу.

— Постойте, господин, господин, — проговорил стражник, вставая и пристегивая шашку, — я все-таки с вами поеду. А то, не равно, как не вышло бы чего худого.

В первую секунду Чебутыкин страшно обрадовался, но почти сейчас же понуро опустил голову и искоса смотрел на ямщика.

— Давай садись, ваше благородие, — проговорил тот, — место в санях есть, а кони хорошие, скорей только, торопиться надо.

Стражник и Чебутыкин сели рядом, ямщик рванул сразу с места. Ямщик теперь чувствовал, что позади него сидит человек с револьвером, и он поминутно чуть-чуть поворачивал голову назад, не выпуская руку из-под полушубка.

— Вот гонит! — с восхищением сказал Чебутыкину стражник. — Хо-ро-ший ямщик.

Но хороший ямщик, доехав до первого ухаба, резко повернул лошадей, сани перевернулись, и. прежде чем Чебутыкин и ругающийся стражник успели пошевелиться в глубоком сугробе, над их головами блеснуло тонкое и длинное, как осиное жало, дуло маузера, и ямщик сказал негромко:

— Стоп, не шевелиться… и лежать смирно.

Так как оба лежали в сугробе, он, отскочив в

сторону, полез в снег за отброшенной почтовой сумкой. Снег был глубокий, выше колена, и пока он доставал ее, стражник успел вскочить на ноги, рванулся к кобуре и выхватил оттуда револьвер.

Но прежде чем он успел нацелиться, тяжелая сумка ударила ему в голову и снова сшибла с ног. Падая, стражник наугад выстрелил, и почти одновременно черный человек блеснул огнем своего маузера и пригвоздил его выстрелом к снегу.

Ямщик схватил опять сумку, обернулся назад и, заметив на горизонте мчавшихся на выстрелы, очевидно, вернувшихся жандармов, бросился к лошадям.

Крепкая ругань сорвалась с его губ: оглобля санок была переломлена. Бежать по дороге было бы бесцельно, бежать в сторону из-за глубокого снега нельзя. Он выскочил на дорогу, обернулся еще раз, соображая, что бы это такое сделать.

Как вдруг он насторожился, отскочил в сторону и, выхватив свой маузер, вскинул его на захрустевшие придорожные кусты.

Мягко скользнув по снегу, оттуда выехала стройная девушка, охваченная серой, мягкой фуфайкой, с тонкими бамбуковыми палками в руках. От быстрого бега она слегка запыхалась и сейчас, столкнувшись с маузером, увидав

опрокинутые сани и валяющихся людей, слегка вскрикнула и остановилась.

— Дай лыжи, — коротко сказал ей Лбов.

Она вскинула на него глаза и, совершенно не обращая внимания на маузер, как будто бы не из-под угрозы, а по доброй воле, легко соскочила на дорогу и воткнула палки в снег.

— Возьмите.

Ремни были маловаты, но перевязывать их было некогда, и человек с трудом всунул в отверстие сапоги и схватил палки. Перед тем как оттолкнуться, он встретился с глазами незнакомки.

— Я вас знаю, — после легкого колебания сказала она. — Вы Лбов.

— Я Лбов, — ответил он, — а я вас не знаю, — он посмотрел на тонкую, теплую, плотно охватившую ее фигуру фуфайку, на мягкие фетровые бурки и добавил: — А я не знаю и знать не хочу.

Зигзагообразной складкой дернулись губы девушки, она откинула голову назад и спросила:

— Вы невежливый? Я Рита… Рита Нейберг.

— А мне наплевать, — ответил он, — и вообще, на все наплевать, потому что за мной гонятся жандармы.

Он сильным толчком выпрямил сжатые руки, и лыжи врезались в гущу кустов. Еще один толчок

— и он исчез в лесу…

— Сволочь, — сказала Рита в бешенстве, — взял лыжи и хоть бы спасибо сказал… И кого это он убил?.. Даже двух.

Пересиливая отвращение, она с любопытством заглянула за сани.

— Барышня, — окликнул ее вдруг кто-то из сугроба, — барышня, он уже ушел?

«Один не умер еще», — подумала Рита и подошла к Чебутыкину.

— Он ушел?

— Ушел, ушел, — ответила она, — а вы ранены?

— Нет, я не ранен, а так.

— То есть как это так? Чего же вы тогда дураком лежите в сугробе? крикнула Рита. — И как это вам было не стыдно: вдвоем с одним справиться не могли?

Чебутыкин забарахтался, выполз из сугроба и, стараясь вложить в слова некоторую убедительность, сказал ей:

— Мы и так сопротивлялись, но что же мы могли?..

— Молчите, и ни слова, — презрительно сквозь зубы сказала Рита, потому что с одного конца торопливо на лыжах приближались два отставших

ее спутника, встревоженные выстрелами, а с другой — во весь опор мчались конные жандармы.

Зимнее солнце скользнуло за горизонт как раз в ту секунду, когда стражники соскакивали с коней.

— Ограбили-таки!.. — громко крикнул один из стражников. — И кто это мог подумать, что он вместо ямщика… Из своих рук прямо выпустили. Ваше имя? спросил он Чебутыкина.

Чебутыкин с достоинством отвернул шубу, чтоб виднее были форменные пуговицы на тужурке, и хотел медленно и толково ответить, но унтер-офицер не дал ему докончить и сказал резко:

— По подозрению в сообщничестве с государственным преступником, разбойником Лбовым, вы арестованы.

Унтер-офицер любил торжественные фразы, но от этой торжественности у титулярного советника Чебутыкина захватило дух — он хотел что-то сказать, но не смог и только подумал: «Господи, ну и день… Господи, и какой же это удивительно проклятый день!»

4. В землянке, занесенной снегом

Пробежав на лыжах верст пять, Лбов остановился. Он вытер рукавицей взмокший лоб и сел на сваленное и заметенное снегом дерево. Было почти совсем темно, снег стал матовым, а деревья слились в одну крепкую, черную тень. Лбов посмотрел на сумку, хотел открыть ее, но сумка была заперта, он вынул нож, собираясь ее надрезать, но раздумал, потому что в темноте можно было выронить что-либо или растерять ее содержимое потом по дороге.

«Здорово, — подумал он и вынул из кармана револьвер, захваченный у убитого стражника. — Смит, — решил он, — ну и то ладно, пригодится». Он повернул несколько раз барабан, положил револьвер обратно, встал на лыжи и поехал дальше. В темноте ветки хлестали по лицу, и голову часто обсыпало мелкой снежной пылью, падающей со встряхиваемых кустов.

Часа через полтора он добрался до такой гущи, что огонек землянки вынырнул вдруг — только перед самыми глазами.

Стольников был дома, он выскочил на двор и крикнул удивленно:

— Сашка! Откуда тебя в этакое время? Я думал, ты в Мотовилихе заночуешь.

— Было дело, — коротко ответил Лбов и, подходя к сеням, спросил: — А у нас кто еще?

— Двое из наших, Степан Бекмяшев и потом еще один — Федор.

— Что за Федор? — с удивлением спросил Лбов и наморщил лоб. Он был осторожен и не любил, когда к нему приходили новые незнакомые люди.

— Свой человек, заходи скорей, узнаешь.

Лбов вошел, не здороваясь, сел на лавку и, показывая пальцем на нового человека, спросил прямо у Степана:

— Он кто?

— Из питерской боевой организации, — не менее прямо ответил Степан, да ты не думай ничего, шальная голова, мы ручаемся.

— Я не думаю, — проговорил Лбов и, повернувшись к Федору, сказал коротко: — Ну, говори!

Питерский товарищ с любопытством посмотрел на Лбова.

— К тебе скоро приедут еще четыре человека.

— Зачем они мне? — И Лбов мотнул головой.

— Как зачем, вместе лучше! У вас будет тогда настоящая боевая группа…

— Группа, — повторил Лбов и задумался, точно

само это слово внушало ему некоторое подозрение. — Как ты сказал — боевая группа? А кто в ней будет?

— Два анархиста, один эсер и один социал-демократ.

— Я не про то спрашиваю, я спрашиваю: ребята надежные?

— Посмотришь — увидишь. Как у тебя насчет оружия?

— Плохо, — ответил вместо Лбова Стольников, — револьверов много, по Мотовилихе обыски повальные, ребята все сюда направляют на сохранение, а винтовок — всего одна.

— Привезут, — сказал Федор, — нужны только деньги. Ты достань денег.

Лбов с минуту подумал, потом поднял сумку, раскрыл нож и провел им по коже. Целая пачка писем вывалилась на стол. Распечатали. Денег было около тысячи рублей. Триста Лбов тут же отдал Федору. Триста оставил себе, а остальные передал Степану.

— Это вам пока на подпольную, — добавил он, — будет с вас, ведь вам все равно на разговоры.

— Как на разговоры? — И Федор удивленно переглянулся со Стольниковым и Степаном.

— А так, на разговоры, — повторил Лбов. — Я понимаю — оружие покупать, бомбы; ты скажи, чтобы больше бомб привозили, беда как люблю бомбы — на это я понимаю, а что зря языками трепаться. Да скажи, чтобы к маузеру мне патронов привезли, — добавил он, опять срываясь на прежнюю мысль, — побольше патронов, мне очень нужны хорошие патроны. — Потом он помолчал и, точно принимая окончательно какое-то решение, добавил: — И хорошие ребята тоже нужны. Только такие, которым бы на все наплевать.

— Как наплевать? — не понял его Федор.

— А так, в смысле жизни.

Вскипятили чай, а за чаем много говорили. Лбов оживился, его темные глубокие глаза заблестели и, крепко сжимая руку петербургского товарища, он сказал:

— Так пусть приезжают, пусть обязательно приезжают, мы тогда такое, такое устроим, что они дрожать будут, собаки.

Потом сел на лавку и спросил:

— У тебя книжки с собой нет?

— Есть, — и Федор подал ему. — На, читай пока.

— Я не могу сам, — резко ответил Лбов и с досадой сжал губы. — Учиться не у кого было, —

добавил он зло.

Он не любил, когда ему приходилось вспоминать о своей безграмотности. Это было его больное место.

— Я прочитаю, давай слушай, ребята! — и Степан взял книгу.

Огонек лампы тускло дрожал в задавленной лесом, в заметенной снегом землянке. И три бородатых человека молча слушали четвертого, и из маленькой затрепанной книжки выпадали горячие готовые слова, выбегали горячими ручейками расплавленных строчек и жгли наморщенные лбы пропащих голов.

— Читай, читай, — изредка говорил Лбов, когда Степан останавливался, чтобы передохнуть, — начинай опять с прежней строчки.

— «…теперешнее правительство само порождает людей, которые в силу необходимости должны переступить закон. И правительство, с неслыханной жестокостью, плетьми и нагайками пытается взнуздать этих людей и тем самым еще больше ожесточает их и заставляет их решиться: или погибнуть, или попытаться разбить существующий строй…»

— Это про нас, — перебил Лбов, — это написано как раз про нас, которые жили, работали и кото-

рым некуда теперь идти. Для которых все дороги, кроме как в тюрьму, заперты до тех пор, пока будут эти самые тюрьмы. Давеча вот ты читал что-то насчет цены…

— Ценности, — поправил Федор.

— Насчет ценности. Это лишнее. А вот про это, про что ты читал, писать надо. И потом, достань мне, милый друг, где-нибудь книжку, в которой написано, как самому делать бомбы.

— Хорошо, я пришлю, — сказал питерец и с удивлением посмотрел на Лбова: сколько в нем энергии, неорганизованной воли и ненависти.

И питерский товарищ подумал, что хорошо бы частицу этой глубокой, сырой ненависти вселить в умы рабочих столицы; тех, которые, сдавленные жандармскими аксельбантами после проигранного восстания, начинают опускать головы и падать духом.

Они долго еще говорили.

В эту снежную, темную ночь долго трепыхался огонек в маленьком окошке лесной землянки, и в эту ночь выросла из сугробов заброшенная землянка, выросла и бросила вызов городу, застывшему над берегом Камы.

Но город усмехнулся в ответ сотнями огней. Был он закован в каменные стены, был он богат

белым серебром винтовочных пуль и красной медью казачьих шашек.

Усмехнулся и не принял вызова город.

5. Странное появление…

С первым пароходом шестеро рабочих Сормовского завода, приговоренных к смертной казни, бежали из Нижнего Новгорода в Мотовилиху. Несколько дней они трепались с гармошкой без дела по улицам, был их коновод Митька Карпов голосист, и черный чуб чертом выбивался из заломленного картуза.

Однажды вечером, когда всей гурьбой они шатались по улицам, с ними встретился конно-казачий патруль и потребовал предъявления документов. И ловко закинулась гармошка на спину, и быстро вынырнули из глубины карманов револьверы, и громко ахнули шесть выстрелов в гущу казачьего патруля.

Наклонился набок стражник Ингулов и, падая, выстрелил и прошиб шею Митьке Карпову, которого подхватили товарищи и под выстрелами унесли прочь.

— Стой! — крикнул около одной из хат Симка-сормовец. — Они нагонят нас, давай стучись в эти ворота. Тут свой человек живет.

Калитку отперла хозяйка, и все шесть ввалились в сени.

— Дома хозяин?

— Нету! Нету! — испуганно заговорила хозяйка. — Да куда же вы идете, у меня там чужой человек сидит.

— Стой, стой ребята… Кто это чужой человек?

— Еврейка какая-то попросилась переночевать.

На улице послышался топот, и тяжело дыша, громыхая шашками, пробежали мимо городовые.

— Вот те и ядрена мамаша, — почесывая голову, проговорил Симка, — а что ж теперь делать-то и на какой черт впустила ее? Ну все равно на улицу теперь не выйдешь, леший с ней, с бабой.

Митьку ввели в хату. Черная женщина лет тридцати пяти с распущенными волосами испуганно вскочила с лавки, когда увидела перед собой шестерых незнакомых человек и кровь, расплывавшуюся по шее и лицу одного из них.

— Откуда это? — спросила она, запахивая распахнутый ворот кофточки.

— Оттуда, — коротко ответил Симка и выругался. — Дайте же чем-нибудь человеку шею перевязать, али не видите, как у него кровь хлыщет?

Женщина быстро раскрыла дорожную сумку,

вынула оттуда бинт, надломила стеклянную пробирку с йодом и умело начала перевязывать раненого.

— Ишь ты, — удивленно сказал Симка, — и откуда это она, на наше счастье, взялась? Ты кто хоть такая?

Но прежде чем она успела что-либо ответить, в окошко постучали. Ребята схватились за револьверы. Распахнулась дверь, вошел хозяин квартиры Смирнов, и с ним Лбов.

Лбов вошел, как будто бы давно был со всеми ребятами знаком. И заговорил быстро:

— Давай раненого оставьте здесь, завтра к нему придет доктор. А все остальные — за мною. А то полиция тут так и кружится, я насилу прорвался.

Ни у кого в голове не мелькнуло даже и мысли ослушаться его, и все пятеро направились к выходу, но Лбов вдруг быстро шагнул вперед, крепко стиснул руку незнакомой женщины и, дернувши ее к свету, спросил с удивлением у хозяина:

— А это кто? Откуда еще тут такая?

— Не знаю, — смущенно ответил тот. — Это баба без меня кого-то пустила.

— Просилась переночевить, рубль дала, вот я и впустила, — запальчиво ответила жена. — У тебя, у черта, хоть копейка есть? К завтраму жрать

нечего, а ты вон чем занимаешься.

Муж не ответил ничего. Лбов нахмурил брови, достал из кармана десятку, положил на стол, потом сказал:

— Оставить тут ее нельзя, черт ее знает, что за человек, а кроме того, у баб языки долгие. Одевайся валяй.

Но черные, точно выточенные брови еврейки даже не двинулись — она молча накинула пальто, яркий цветной платок и вышла на улицу.

Два раза от разъездов шарахались все в темноту.

Чтобы не навлечь полицию на оставленного раненого, Лбов умышленно избегал перестрелки.

На берегу Камы он легонько свистнул и замолчал. Прошло минут пять никого не было.

— Ты зачем свистишь? — спросил его Симка.

— Увидишь, — коротко ответил Лбов, — я даром никогда не свищу.

Послышался плеск, из темноты вынырнула лодка и причалила к берегу. Все семеро сели молча, и лодка темным пятном заскользила по Каме. Слезли на том берегу. На опушке, пока ребята закуривали, Лбов подошел к еврейке, молча усевшись в стороне на срубленном дереве, и спросил:

— Чего же ты молчишь и откуда ты на нашу голову взялась? Убивать тебя вроде как не за что, а в живых оставлять тоже нельзя. И куда я тебя дену?

А ночь была такая звездная. И вечер был такой мягкий. Женщина встала, скинула платок и вдруг неожиданно обняла его за шею.

— Милый, — сказала она шепотом, — милый, возьми меня с собой.

Лбов никак не ожидал этого.

— Вот дура-то, и как это ты скоро… Да на что ты мне нужна! — Он хотел было оттолкнуть ее, но она еще крепче зажала руки на его шее и, прижимаясь к нему всем телом, прошептала:

— А может, на что-нибудь?

А ночь была такая звездная, и вечер был такой весенний. И Лбов вспомнил, что собственная его жена теперь отгорожена барьером казачьих шашек, и Лбов уже мягче разжал ее руки.

— Ты дура, — сказал он ей.

И Симке-сормовцу, который стоял недалеко, показалось, что он улыбнулся, а может быть, и нет — разглядеть было трудно, потому что ночь была весенняя, говорливая, но темная.

Но то, что женщина улыбнулась и блеснула черными глазами, — это Симка-сормовец разгля-

дел хорошо.

6. Встреча

Это было на берегу речонки Гайвы, узенькой мутной полоской прорезавшей закамский лес.

Лбов лежал на берегу речки, а Симка-сормовец запекал в углях картошку, когда невдалеке послышался вдруг резкий свист.

— Бекмешев пришел, — не поворачивая головы проговорил Лбов. — Давно я уже его жду, дьявола. А ну-ка, свистни ему в ответ.

Но это был не Бекмешев, а паренек лет шестнадцати. Он вынырнул из-за кустов и сказал, чуть-чуть задыхаясь от быстрого бега:

— Ишь куда запрятались, а я искал, искал... Тебе, Лбов, записка от Степана. А сам он не может, занят чем-то.

— «Занят»! — хмуро передразнил Лбов. — Чем он там занят? А ну, дай сюда!

Он взял записку, распечатал ее, повертел перед глазами и сунул ее Симке.

— На, читай!

Симка прочел. Там было несколько бессвязных и непонятных слов: «Приходи как под луну, в девятый, четыре патрона есть».

Но смысл этих слов был, очевидно, понятен

Лбову. Он улыбнулся, привстал с земли, потом сжал губы и задумался.

До сих пор он действовал на свой риск и совершенно один. Сормовских ребят считать было нельзя, они были пришлыми и непостоянными, а Стольников за последнее время ни в какие дела не вмешивался, он стал каким-то странным, все ходил, часто хватался за голову и бормотал какие-то несуразные слова. А теперь — кто они, эти четыре, с которыми придется рыскать, нападать и, если нужно, то умирать? Кто они?

Весь день он был задумчив. В девять вечера был на обычном месте, верстах в пяти от Мотовилихи. Прошел час — никого не было. Лбов нервничал, и эта нервность еще усиливалась окружающей обстановкой, потому что темный лес, насыщенный весенними тревожными шорохами, напитанный сыроватым пряным запахом преющей прошлогодней листвы, бил в голову и слегка кружил ее.

Но никто не видел и не знал, как нервничал тогда Лбов.

И едва только захрустели ветки под чьими-то ногами, едва только фальшивым криком откликнулась кукушка, и не кукушка, а ястреб, выпрямился Лбов и провел спокойной рукой по маузеру.

Их было четверо, четыре человека без имен.

Демон — черный и тонкий, с лицом художника, Гром — невысокий, молчаливый и задумчивый, Змей — с бесцветными волосами, бесцветным лицом и медленно-осторожным поворотом головы, и Фома — низкий, полный, с подслеповатыми, добродушными глазами, над которыми крепко засели круги очков.

И в первую минуту все промолчали — посмотрели друг на друга, а на вторую — крепко пожали друг другу руки, и в третью — Змей повернул голову и спросил так, как будто продолжал давно прерванный разговор:

— Итак, с чего мы начинать будем?

— Найдем, с чего, — ответил Лбов. — Садитесь здесь, — он неопределенно показал рукой вокруг, — садитесь и слушайте. Я все наперед скажу. Я рад, что вы приехали, но только при условии, чтобы никакого вихлянья, никакого шатанья, чтобы что сказано — то сделано, а что сделано — о том не заплакано, и, в общем… Револьверы у вас есть? И потом, нужны винтовки, и потом мы скоро разобьем Хохловскую винную лавку, а потом — надо убить пристава Косовского и надо больше бить полицию и наводить на нее террор, чтобы они боялись и дрожали, собаки…

Он остановился, переводя дух, внимательно посмотрел на окружающих и начал снова, но уже другим, каким-то отчеканенно-металлическим голосом:

— А кто на все это по разным причинам, в смысле партийных убеждений или в смысле чего другого, не согласен, так пусть он ничего не отвечает, а встанет сейчас и уйдет, чтобы потом не было поздно.

Он остановился, и сквозь его голос проскользнула угрожающая, резкая нотка. Он не сказал больше ничего.

— Всю программу изложил, — заметил Бекмешев, стараясь сгладить слегка резкость, с которой встретил вновь прибывших Лбов.

Демон удивленно стянул брови. Гром молчал. Змей выставил одно ухо вперед и слушал, чуть-чуть улыбаясь, и улыбка у него была вкрадчивая, непонятная, так что каждый мог ее понять по-своему.

Только Фома снял очки, вытер спокойно стекла и сказал отдуваясь, но совершенно просто:

— Уф… ну, милый, и завернул же ты… Только надо же все как-нибудь согласовать, чтобы все это не слишком уж разбойно выходило.

Но что и с чем согласовать, он не договорил, по-

тому что невдалеке заревела сирена проходящего парохода, и шальное эхо долго и неугомонно неслось по лесу.

Пошли к лбовской землянке. Кроме Стольникова, там было еще двое ребят. Уселись у костра, над которым варился котел с мясом, и стали знакомиться.

— Я пить хочу, — сказал Змей.

— И я, — добавил Гром.

— Пойдем, — проговорил Лбов, — я тоже хочу. Входи в землянку, там ведро.

Распахнули дверь, первым вошел Гром. Он пил долго, молча, потом подал ковш Демону и хотел выйти, но взгляд его упал на угол, на груду наваленной сухой листвы, служащей вместо постели Лбову, и на окутанную красным, густо пересыпанным цветками, платком Женщину. Он перевел глаза на Лбова и спросил спокойно, не меняя выражения лица:

— У тебя женщина? — Он сделал небольшое, едва заметное ударение на последнем слове.

А Змей наклонил голову и, неопределенно улыбаясь, добавил вполголоса:

— Женщина в цветном платке, это твоя любовь?

— У меня любовь к бомбам, а не к бабам... и

заткните ваши глотки.

В эту минуту в землянку вошел один из ребят и сказал, волнуясь:

— На опушке, возле дороги, знаешь, что возле ключа, костров там тьма, ингушей, должно быть, штук с полсотни остановилось… Это неспроста, они чего рыщут.

— Неспроста, — согласился Лбов и замолчал.

По лицу его забегали черточки, и казалось, что мысли его напряженной головы проливались рывками через складки морщин лба.

— Неспроста, — повторил он. — Ты, ты и ты, — показал он пальцем на нескольких человек, — вы все — марш вперед, слушайте и следите… Нужно, чтобы они не столкнулись сегодня с нами. Сегодня, — он подчеркнул это слово, — сегодня нам нужно отдохнуть.

Через час, за исключением дозорных, высланных к ключу для наблюдения за расположившимся отрядом, все крепко спали.

Змей проснулся от того, что кто-то слегка задел его за руку. Он открыл глаза и на фоне окошка, чуть мерцавшего звездным светом, увидел темный силуэт женщины.

«И чего не спит баба», — подумал он и закрыл опять глаза.

Женщина накинула платок, осторожно отворила дверь и вышла. Возле землянки она остановилась и прислушалась. Было прохладно и тихо. В кустах что-то хрустнуло, женщина вздрогнула и заколебалась, но потом оглянулась еще раз и быстро исчезла в лесной темноте.

7. Этой же ночью

И в тот же день, когда Лбов встретился с боевиками, хорунжего Астраханкина вызвали в жандармское управление, где сообщили ему, что, по имеющимся у них сведениям, ко Лбову и Стольникову присоединились пятеро сормовских рабочих и всей шайкой была ограблена дача князя Абамелек-Лазарева. Еще ему по секрету сказали о шифрованной телеграмме из Петербурга с сообщением, что несколько террористов выехало на присоединение к шайке.

— Надо уничтожить в самом зародыше, — сказал жандармский подполковник, — а то знаете, чем это попахивает? И так за последнее время вокруг чертовщина какая-то твориться начинает. Особенно в Мотовилихе: рыскают какие-то подозрительные типы, собираются в кружки, чего-то шепчутся. А полиция… а полиция, чтоб ей неладно было, только портит авторитет государственной власти — два раза Лбов перестрелку среди улицы затевал, он один, а их двое, либо трое, — отстреляется и уйдет. Это не человек, а черт какой-то! Вы знаете, если эдакому человеку да шайку, так тут может такое, такое выйти… —

подполковник запнулся, подыскивая подходящее слово, и несколько раз покрутил пальцем, вырисовывая в воздухе какую-то петлю.

— Ну, в общем, нельзя, — закончил он раздраженно, — нельзя потакать, надо в зародыше, надо в корне…

Он был зол, потому что еще утром он получил от начальства весьма сухую телеграмму, в которой указывалось, что с Лбовым давно бы пора было, пожалуй, покончить.

Астраханкин вышел на улицу возбужденный и энергичный. Он прошел по Оханской до дома, где жила Рита, и завернул к ней.

Рита встретила его приветливо, но сквозь матовую кожу щек проглядывала нездоровая, нервная бледность, и вообще вид у нее был усталый и утомленный. Она попросила Астраханкина в гостиную и, скучая, слушала, как он говорил ей что-то — что, она, по обыкновению, не разобрала, так что он обиделся даже немного.

— И отчего это вы, Рита, за последнее время такая? — спросил он.

— Какая?

— Не… не такая, как раньше.

— А какая я была раньше?

— Ну, вы сами знаете, теперь к вам подступить

страшно, даже руку у вас поцеловать и то как-то неудобно.

Рита устало протянула ему руку и сказала спокойно и лениво:

— Ну, целуйте, если вам это нравится.

Астраханкин вспыхнул.

— Я хочу, чтобы это вам нравилось. И что это, в самом деле? Я сегодня вечером уезжаю, у меня, вероятно, со Лбовым схватка будет, может быть, пулю в лоб получу, черт его знает, а вы хоть бы на сегодня переменились!

Она плавно спустила ноги с дивана, откинула кудрявую болонку и быстро схватила его за руку.

— Вы с лбовцами?..

— Да, я. Я только что получил задание, — заговорил он, думая, что эта оживленность вызвана опасением и страхом за его судьбу.

— Вы с лбовцами, — повторила она, — вы должны обязательно захватить его. Слышите, об этом я вас прошу, и если не для охранки, так сделайте это для меня. Я так… я так ненавижу… — начала было она и замолчала, потому что заметила, что зашла слишком далеко, и потому, что Астраханкин, удивленный такой горячностью, посмотрел на нее и спросил недоумевая:

— И что это за фантазия? Вам-то что до него,

Рита? И почему это именно вы ненавидите его?

Рита не ответила. Она поднялась с дивана, откинула назад слегка растрепавшиеся волосы и сказала:

— Возьмите и меня с собой.

— Вы с ума сошли, — ответил Астраханкин, тоже поднимаясь.

— Возьмите и меня, — упрямо повторила Рита, — моя Нэлла не хуже вашего Черкеса, и я не буду вам мешать.

— Вы шутите, Рита, вам-то куда и зачем… да это невозможно, разве я могу рисковать брать с собой на такую операцию женщину. Женщину, гм… кашлянул он, — да еще такую хорошенькую.

Но Рита даже не оборвала его, как всегда в этих случаях. Она засмеялась и приветливо пожала ему руку, прощаясь.

Когда он ушел, Рита больше не скучала. Рита достала карту окрестностей Перми, долго и внимательно рассматривала ее, но ничего толком не поняла. Тогда она позвонила и сказала горничной:

— Передайте Егору, чтобы Нэлла была напоена, накормлена и оседлана.

— Сейчас? — спросила та, почтительно наклоняя голову.

— Нет, — ответила Рита, удивляясь про себя недогадливости горничной. Нет, не сейчас, а к семи часам вечера.

А Нэлла у Риты была как Рита. Тонкая, стройная и с норовом — черт, а не лошадь. И Рита любила Нэллу, и Нэлла любила Риту.

В половине восьмого хорунжий Астраханкин, переправившись с полусотней на пароме, умчался в закамский лес. В девять, вслед за ним, ускакала сумасбродная и взбалмошная девушка. Она решила твердо ехать в отдалении до того места, где они остановятся, она не хотела раньше времени встречаться с Астраханкиным и потому-то то и дело сдерживала рвущуюся вперед лошадь.

Один раз, когда она чуть-чуть не натолкнулась за поворотом лесной дороги на хвост отряда, она соскочила с коня, отвела его за деревья и села на траву.

«Подожду, — подумала она, — тут дорога, кажется, одна. Я всегда нагнать успею».

В голове ее мелькнула мысль, что хорошо бы увидеть Лбова убитым.

«Нет, нет, не убитым, — почему-то испугавшись этой мысли, поправилась она, — а просто пойманным и связанным. Крепко-крепко связанным».

Она вспомнила голубой блестящий снег, опрокинутую кибитку и человека, хмуро ответившего ей: «А я вас не знаю и знать не хочу».

«Не хочет… Что значит не хочет? — она обломила ветку распускающегося куста, переломила ее пополам и отбросила. Потом оглянулась, было тихо в лесу, и сумерки надвигались, поползли из-за каждого куста и из каждой щели. — Однако, — подумала Рита, — надо скорей».

Она вывела Нэллу на дорогу, вскочила в седло и ударила каблуками.

Гайда!

Свежий ветер проносился мимо лица, и Нэлла, почувствовавшая опущенные поводья, перешла на карьер. Изгибающаяся дорога швырялась в разгоряченное лицо Риты причудливыми изломами расцветающих полян, еще чуть освещенных красноватыми отблесками облаков, зажженных зашедшим солнцем. Она долго скакала, но отряд все не попадался. Рита остановила лошадь и оглянулась: сумерки стихийно атаковали землю, и облака угасли.

«Не может быть, чтобы они уехали так далеко», — сообразила Рита. И она вспомнила, что невдалеке, влево, она миновала другую дорогу, маленькую и уходящую прямо в гущу леса.

Рита решила свернуть на нее, но для того чтобы не возвращаться, она взяла влево, прямо наперерез, тем более что через лес в ту сторону проходила длинная и узкая просека…

Но через некоторое время прямо из темноты встала перед ней и загородила дорогу черная, враждебно-замкнутая стена невырубленного леса.

Рите стало немного страшно.

«Дорога должна быть где-то здесь, совсем рядом», — подумала она и, соскочив с лошади, повела Нэллу по лесу на поводу.

Но дороги не было. Сколько времени бродила Рита, сколько раз останавливалась она перед гущей кустов, охватывающих заблудившуюся незнакомку крепкими пальцами длинных веток, — сказать было трудно. Рита измучилась и устала, она совсем было отчаялась выйти куда-либо, как вдруг ей показалось, что где-то невдалеке слышен какой-то неопределенный, чужой шорох.

Чаща была настолько густая, что идти дальше с лошадью было нельзя. Рита привязала ее к кустам и пошла одна.

Через некоторое время она вышла на какую-то поляну и прислушалась. Взошла луна. Потом

Рита отскочила за куст и побледнела, потому что ясно услыхала, как кто-то торопливо пробирается по лесу.

«А ну как разбойники?» — подумала Рита и затаила дыхание.

На поляну вышла женщина. Оглянулась и торопливо пошла прочь.

Острая и светлая, как осколок разбитого стекла, мысль блеснула в голове Риты: «Откуда тут быть женщине? Это, должно быть, их женщина. И это, наверное, его женщина, и она, конечно, идет к нему».

От этой мысли Рита забыла весь страх и пришла в бешенство.

«Так вот оно что, вот оно что, — подумала она, — ну, погоди же». И она угрожающе зашептала что-то нервно изломавшимися, тонкими губами.

Ей надо было идти отыскивать дорогу, но ей до боли, до дьявола захотелось проследить, куда пошла та. Она остановилась в нерешительности, шагнула раз, шагнула два и, заслышав опять что-то подозрительное, только что хотела отскочить в кусты, как сзади кто-то крепко и плотно зажал ей рот.

Рита сильно рванулась, но платок еще крепче

стиснул ее губы, и не успела она опомниться, как ее закрученные за спину руки оказались перетянутыми ремнем. Захватившие ее два человека, по-видимому, сильно торопились, они взвалили ее на плечи и быстро потащили в лес. Прошло не более десяти минут, как Риту поставили на землю, один остался около нее, а другой, бросившись к землянке, открыл ее и крикнул тревожно:

— Вставайте, черти, ингуши прутся, а вы тут…

Он не успел еще докончить, как из землянки выпрыгнул уже Змей, вслед за ним Лбов — с маузером, вросшим в руку, потом и все остальные.

— Шпионку поймали, — быстро заговорил один из дозорных. — А ингуши коней поставили с коноводами и сами прямо сюда ползут, как ящеры; мы сюда скорей, смотрим — баба в кустах хоронится.

Стрелять было нельзя. Змей рывком выхватил нож и бросился к связанной девушке.

Холодным, лунным огнем блеснуло остро отточенное лезвие, и Рита закрыла глаза. Но рука Змея остановилась, крепко стиснутая пятерней Лбова.

— Постой, не торопись, — проговорил он и сорвал с губ Риты повязку и сам даже отошел от изумления от нее на шаг. Он узнал ее.

— Это неправда, — порывисто сказала Рита пре-

рывающимся и полным обиды голосом, — я не шпионка. Я заблудилась. Это неправда, — добавила она горячо, а Лбов посмотрел на нее тусклым и тяжелым взглядом.

— Ведь вы же знаете, что это неправда, — сказала она, убежденно подчеркивая слово «вы» и точно не сомневаясь в том, что Лбов обязательно должен ей поверить.

— Она *лжет*, — сдавленным голосом сказал Змей и опять схватился за нож.

Но Лбов, очевидно, почему-то поверил, оттолкнув Змея, он схватил Риту, легко поднял ее, втолкнул в дверь землянки и так же легко подхватил валявшийся тяжелый пень и прислонил его к двери, а сам крикнул:

— Все скорей за мной!

И Рита осталась одна, запертая. Прошло минут сорок, как частая беспорядочная стрельба покатилась по лесу. Рита рванулась к двери, но дверь была заперта крепко, Рита выбила окно, но оно было слишком узкое для того, чтобы можно было в него пролезть.

Выстрелы перекатывались, будоражили ночной покой, и лес заворчал, заохал, застонал. Потом сразу все смолкло, тишина стала еще резче и еще таинственнее.

Прошло еще с час. Вдруг, где-то уже совсем недалеко, резко хлопнул одинокий и никчемный выстрел. Потом, через несколько минут, сквозь разбитое окошко Рита услыхала хруст.

«Кто это?» — подумала она, но крикнуть не решалась.

Разговаривали двое.

— Здесь, где-то близко, — сказал один.

— Здесь, — добавил другой, — тут недалеко лошадь попалась привязанная так офицер наш на нее наткнулся, не разглядел в темноте, да и бахнул. Она так и свалилась.

— Это что, одну да и ту живой захватить не сумели. А сколько они у нас сегодня коней угнали.

— Нэллу! — крикнула Рита. — Мою Нэллу…

Ее напряженные нервы не выдержали, она упала на мягкую груду сваленной в углу листвы и разрыдалась.

Крик, очевидно, услышали, потому что со всех сторон послышался топот, кто-то отвалил от дверей чурбан, и хорошо знакомый ей голос крикнул:

— Эй, выходи, выходи…

Рита гневно вскочила, распахнула дверь и, окидывая взглядом казаков, наставивших на нее винтовки и наведенное на нее дуло офицерского

револьвера, сказала презрительно изумленному и ничего не понимающему Астраханкину:

— Вы идиот! И Лбов хорошо сделал, что поколотил вас, вы ничего не смогли сделать. И кроме того, как вы смели убить мою Нэллу?..

8. Перед бурями

А в это время Лбов был уже далеко-далеко. Пока казаки подбирались к землянке, Лбов обходным путем зашел к ключу, напал на оставшихся полтора десятка коноводов, половину перестрелял, и, захватив их винтовки, все лбовцы повскакали на бродивших коней и умчались прочь.

На следующий же день срочной шифрованной телеграммой на имя министра внутренних дел пермский вице-губернатор сообщил о том, что лбовцы напали на коноводов отряда ингушей, захватили десять лошадей и пятнадцать винтовок и скрылись в неизвестном направлении.

Через пять часов была отослана дополнительная телеграмма, указывающая на то, что в Мотовилихе, в связи с этой победой Лбова, чувствуется сильное радостное возбуждение. И это возбуждение выразилось прежде всего в том, что в проходившего мимо пристава Косовского были произведены два выстрела. Покушавшийся скрылся. Пристав Косовский хотя от выстрелов остался невредим, но тем не менее получил по голове камнем, вылетевшим в следующую минуту из-за забора.

В этот же день, вечером, на железной дороге весовщик Ахмаров принял несколько тяжелых ящиков с надписями: «Запасные части для машин», вечером весовщик отдал два из этих ящиков приехавшему за ними человеку. А через час на квартиру его нагрянула полиция, и весовщика арестовали; полиция долго обшаривала его квартиру, потом отправилась в складское помещение и, распаковав оставшийся ящик, обнаружила там разобранные винтовки и несколько заряженных бомб.

И ночью начали сыпаться в Пермь ответные телеграммы от министра внутренних дел и от III Отделения. Министр негодовал, приказывал, грозил. Охранное отделение предупреждало, телеграфировало какие-то списки, сообщало, что направляет надежных провокаторов в помощь пермскому отделению.

Но Лбов был осторожен. Получив оружие, он не бросился сразу же в рискованные операции, а начал готовиться к выступлению обдуманно и серьезно.

Он устраивал по лесам запасные убежища. Демон организовал целую лабораторию, где с помощью нескольких ребят готовил самодельные бомбы. Фома занимался установлением

надежной связи с пермскими революционными партиями.

А Змей — Змей превзошел всех — переодевшись, он отправился в Пермь и выдавал себя за театрального дельца, обошел все парикмахерские, закупая повсюду парики, наклейки, бороды, грим. Змей устроил у себя целый костюмировочный склад, он то и дело появлялся перед товарищами то в виде почетного старца, то в виде нищего. Однажды даже его чуть-чуть не ухлопали, когда он явился в форме жандармского подполковника. Он начал всех обучать гримироваться и быстро разгримировываться, что впоследствии сослужило огромную пользу лбовцам.

Но полиция не дремала тоже. На Мотовилиху теперь было обращено особое внимание, за Мотовилихой следили зорко казачьи патрули, а также глаза каких-то неизвестных субъектов, приехавших неизвестно откуда и неизвестно зачем.

Но Мотовилиха умела прятать свою душу в изгибах изломанных улиц, в провалах раскинувшихся холмов и за крепкими засовами закрытых ворот.

Это было время, когда имя Лбова начинало пользоваться большой популярностью. О нем

говорил весь рабочий Урал, о нем говорили и в покосившихся домиках, и в крестьянских хатах, и в пивных города. Люди шептались, осторожно оглядываясь, люди восхищались смелостью рабочего бунтовщика.

А сам Лбов в это время горел. Он бесстрашно появлялся в Мотовилихе, он помогал крестьянам, помогал революционным организациям, а главное организовывал и готовился к решительному и сильному удару, который он задумал нанести жандармерии к началу следующей весны.

Рита Нейберг в это время не скучала. Скуки не было. Но была тоска. Иногда ей хотелось тоже самой сделать что-либо сумасшедшее, убежать в шайку к Лбову и носиться на коне рядом с атаманом «Первого пермского отряда революционных партизан». Иногда она ненавидела этого атамана до того, что страстно хотела, чтобы его поймали, застрелили его, оттолкнувшего и не понявшего Риту.

Свадьбу она все время откладывала и на все просьбы Астраханкина отвечала коротко и определенно:

— Нет, нет. Сейчас нельзя. Потом… Я не знаю когда, но только потом.

И в голове Риты была в это время мысль, что,

пожалуй, честней было бы сказать, что никогда. Ибо Рита уже чувствовала, что никогда, потому что Рита…

Однажды утром, после бессонно проведенной ночи, она заявила отцу, что уедет на Кавказ… Отец обрадовался, он давно замечал, что с ней случилась какая-то необъяснимая перемена, и он горячо сейчас поддержал ее мысль.

Уезжая, Рита долго и жадно всматривалась из окна вагона на спокойную Каму, обвеянную сентябрьским хрустальным светом, и на темный, убегающий к далеким горизонтам закамский лес.

И в пестряди мелькающих деревьев ей чудился сдавленный шорох майской ночи, лезвие кинжала, блеснувшее лунным огнем, крепкий зажим кольца сильных рук Лбова, поставивших Риту в землянку.

Паровоз заревел звонким, хохочущим криком, деревья скрывались, и только в эту секунду Рита остро почувствовала, что уезжать из Перми ей почему-то очень и очень тяжело.

ЧАСТЬ II

9. Схватка

В марте 1907 года Лбов имел уже крепко сколоченный и хорошо вооруженный отряд в тридцать человек.

Стоял теплый весенний вечер, с крыш капало, по улицам Мотовилихи шли возвращающиеся с завода рабочие.

Было все тихо, как будто бы совсем спокойно, и только винтовки, заброшенные за спину стоящих на перекрестках городовых, да какое-то приподнятое настроение прохожих указывало на то, что кругом течет тревожная, насыщенная запахом пороха жизнь.

Городовой на посту у Малой проходной только что вынул кисет с табаком, собираясь закурить, как вдруг испуганно выронил его, потому что услышал резкий полицейский свисток с соседнего поста. Он сорвал с плеча винтовку, дрожащими руками двинул затвором, отскочил к забору, оглянулся и заметил бегущего по направлению к нему человека.

Городовой прицелился, выстрелил — промахнулся, выстрелил еще и еще раз… Человек покачнулся, точно кто-то сильной рукой рванул

его за плечо, и отскочил за угол.

Путаясь ногами в болтающейся шашке, городовой бросился за ним, завернул на соседнюю улицу, но там никого уже не было. Он удивленно обернулся, недоумевая, куда же мог пропасть беглец, потом, сообразив, что человек, должно быть, скрылся в ближайшие ворота, пробежал к ним.

Но ворота ухмыльнулись ему в лицо разрисованной мелом школьников рожей, и слышно было, как они крепко замкнулись тяжелым засовом.

Городовой повернулся, вынул свисток и только что поднес его к губам, как услышал какой-то подозрительный шорох позади. Он хотел было отпрыгнуть, но не успел, потому что из-за забора бабахнул негромкий револьверный выстрел, и маленькая пуля от браунинга, ядовито взвизгнув, прошла через толстую черную шинель, через мундир, разукрашенный засаленным кантом, и маленькая пуля столкнула большого грузного человека в снег.

Падая, городовой видел, что калитка дома распахнулась, и четыре человека, поспешно выскочив оттуда, вынесли на руках пятого, и все торопливо бросились в темную глубину соседнего переулка.

На выстрелы неслись конные дозоры стражников, бежали городовые с соседних постов. Они подняли валяющегося полицейского и закидали его вопросами: в чем дело, кто, где и куда? Он хотел было открыть рот, чтобы что-то ответить, но рот уже не слушался, он хотел показать рукой, но рука уже умерла, тогда он покачнулся снова и стеклянными глазами — холодными и безжизненными, как серебряные пуговицы полицмейстерской шинели, — не сказал ничего.

В это время Лбов и еще трое были здесь же, в Мотовилихе, на квартире у Смирнова, а еще шесть лбовцев под командой Ястреба были в другом конце поселка — у вдовы Чекменевой.

Лбов по складам читал только что выработанный устав «Первого Пермского революционно-партизанского отряда». Фома переводил на шифр какую-то бумагу, а Гром со Змеем играли в шашки.

— И чего, дьявол, канителится? — недовольно проговорил Лбов, отрываясь от чтения. — И куда он только пропасть мог?

Он ожидал Демона, который ушел за только что прибывшим из Петербурга динамитом и что-то уж очень долго не возвращался.

Вдруг Змей, рывком свернув шею набок, при-

слушался, выскочил из-за стола, смешав шашки, и распахнул форточку окна. Бум… бу-бу-бум, — тревожно ворвалось в комнату глухое волнующее эхо.

Все вскочили. Лбов открыл затвор винтовки и, попробовав пальцем, полна ли магазинная коробка, вышел на двор. Через несколько минут он вернулся и сказал, что стреляют где-то возле проходной и что надо быть начеку.

Змей вышел наружу, дошел до темного угла и, прислонившись к забору, слился с ним черной, расплывчатой тенью и стал ожидать. Через некоторое время он услышал, как на гору торопливо бегут два либо три человека. Змей снял с плеча винтовку и остановился, готовый каждую секунду дождем выстрелов засыпать всякого, пытающегося прорваться насильно к убежищу Лбова. Но это была не полиция, а двое знакомых рабочих.

— В чем дело? — негромко крикнул им Змей, вырастая из темноты перед ними.

— Где Лбов? — задыхаясь, проговорил один из них.

Не останавливаясь, они все вбежали в ворота.

— Лбов, — проговорил один взволнованно, — тут одного из ваших узнали, за ним была погоня,

и его ранили, потом мы убили полицейского, а раненого унесли, и сейчас он у Коростина на квартире. Что делать?

— А кого ранили? Ты знаешь его? А куда он ранен? — встревоженно проговорил Фома.

— Не знаю, а спросить невдомек было, да и не успели, а ранен в плечо, ну только, кажись, не особенно.

— Надо всматриваться, — сощуривая глаз, сказал Змей.

— Надо увезти его, — предложил Гром.

— Не надо, — оборвал их Лбов, — не надо увозить. Сейчас мы пошлем к нему доктора, потом ты… — он показал пальцем на насупившегося Грома, — ты проберись к нашим и скажи Ястребу, чтобы без моего разрешения никто и никуда. Да приведи-ка сюда Женщину, нечего ей там околачиваться. А Змей пускай пойдет и узнает, кто это, кого они ранили, я думаю, что, вероятно, Демона, а если Демона, то спроси его, где динамит, и вообще узнай, в чем там дело, и скажи, что пусть не беспокоится, мы ему пришлем доктора. Ну, живо…

Гром накинул полушубок, поправил кобуру револьвера и направился к выходу. А Змей уже исчез.

В это время Ястреб с пятью лбовцами был наготове. Женщина, услышав выстрелы, бросилась к окну, потом хотела было выбежать на двор, но Ястреб крепко ухватил ее за руку и толкнул обратно на лавку.

— Сиди и не суйся.

— Мне страшно, — сказала она, — я лучше убегу и одна проберусь в лес.

— Сиди, — повторил Ястреб и внимательно посмотрел на нее.

И пытливый взор Ястреба уловил какое-то несоответствие между ее испуганными словами и спокойным провалом черных глаз, в которые нельзя было смотреть и взгляд которых нельзя было пересмотреть, ибо они всегда светились ровной, загадочной темнотой.

— И откуда она взялась на нашу голову? — опять вслух высказался кто-то.

Но в это время вошел Гром и передал, что Лбов приказал никому и никуда не уходить, ни с кем не связываться до рассвета, потому что надо во что бы то ни стало забрать и унести динамит, полученный для бомб. Он передал это, потом приказал женщине идти за ним.

— Хай катится от нас подальше, — сказал Ястреб, — а то сидит, как сова какая-то, и молчит,

ни с ней поговорить, ни к ней подступиться.

Женщина накинула платок и вышла. Была чуть-чуть морозная ночь, ручьи продолжали еще булькать, но под ногами то и дело похрустывали тонкие пластинки льда. Гром никогда много не разговаривал, женщина — та и подавно, потому и шли молча.

Было темно, и Гром несколько раз оступался и, продавливая стекляшки льда, попадал ногой в воду.

— Ну-ну, не отставай, — говорил он несколько раз женщине, бесшумной тенью следовавшей за ним.

Возле одного из поворотов Гром слегка поскользнулся, и почти одновременно невдалеке заржала лошадь, а кто-то окрикнул громко:

— Стой, стой!.. Кто идет?.. Говори, а не то стрелять буду!

Гром сильно толкнул женщину в сторону и сам приник в углубление каких-то ворот.

— Кто там шляется? — спросил опять тот же голос.

— Никого, должно быть, — ответил другой, — это лед в ручье от мороза хрустнул.

— Ну и жизнь, ну и жизнь, — сплевывая, проговорил первый, — ни тебе днем, ни тебе ночью

покоя. Ворота скрипнут — за винтовку хватайся, ветер зашумит — к шашке тянись.

Один из трех конных проехал около забора близко-близко, так, что Гром мог бы достать круп его лошади концом дула своего револьвера. Гром уже думал, что опасность миновала вовсе, но в это время кто-то впереди загорланил какую-то несуразную песню — должно быть, пьяный, возвращающийся с какой-нибудь попойки, и один из стражников тотчас же повернул и поскакал обратно, а остальные отъехали в сторону и остановились.

Гром не видел их, но чувствовал по фырканью лошадей, что они близко.

Он выбрался из своего убежища, тихонько дернул женщину за конец платка и пошел вперед. Но не прошел он и полсотни шагов, как столкнулся вдруг со стражником, возвращающимся с захваченным пьяным.

— Что за человек? — окликнул тот.

— Здешний, — сдержанно ответил Гром.

— А ну, давай сюда.

Гром хотел уже выстрелить, но в этот момент пойманный пьяный заорал опять что-то бессмысленное, пытаясь вырваться, стражник ухватил его еще крепче за шиворот, а другой рукой схва-

тился за луку седла, чтобы не слететь, и крикнул во все горло:

— Эй, ребята, давай сюда!..

— Бежим, — шепнул Гром женщине и прыгнул в темноту.

— Уф... ну и влипли было, — проговорил он, останавливаясь минут через двадцать. Он обернулся. — Где ты? — крикнул женщине и прислушался.

Но было все тихо, только нудно подвывали встревоженные собаки да чуть слышно булькали запертые льдом ручейки, а женщины не было.

Наконец он добрался до места. Змей уже вернулся и передал, что ранили Демона, а ящик с динамитом уже здесь.

— А где женщина? — спросил недовольно Лбов. Он не любил, когда не выполняли его распоряжений, хотя бы и мелочных.

— А пес ее знает, — ответил Гром и рассказал, как было дело.

Лбов забеспокоился, он приказал тотчас же собираться, хотя ему нужно было еще видеть одного из членов подпольной партийной организации, чтобы передать ему некоторую сумму денег, а также кое о чем условиться.

— Ежели ее захватили, так она все может вы-

болтать, и того и гляди, что жандармы…

— Не выболтает, — сказал Фома, — она здорово молчаливая баба.

— Как начнут нагайками, так и выболтает. А ну, давай собирайся.

Но в это время со двора послышался условный свист.

— Кто-то из наших.

Распахнулась дверь, и вошла женщина.

— Ты где была, дура? — недовольно, но вместе с тем и облегченно спросил Лбов.

— Я отстала, он слишком быстро бежал, и потом я попала не в тот проулок.

Через несколько минут пришел и тот, кого ожидал Лбов. Они долго и горячо разговаривали. Стало уже светать.

— Смотри, — сказал под конец пришедший, — смотри, Лбов, сочувствие к тебе сейчас огромное, но не покатись только вниз, ребята твои что-то того.

— Чего? — Лбов пристально посмотрел на него.

— Не слишком ли уж они экспроприациями увлекаются?

— Говори проще, грабят, мол, много, так это правда, вот погоди, еще больше будем. Мы не без толку грабим, а с разбором.

— Смотри, разбирайся лучше, а то ты восстановишь всех против себя и даже…

— Вас что ли? — резко перебил Лбов.

— А хотя бы и нас.

— А кто вы и что вы можете?.. — начал было Лбов. — Впрочем, не будем ссориться, — оборвался он вдруг и крепко стиснул руку товарищу.

В сенях послышался топот. С силой ударилась о стену отброшенная дверь, ввалился полицейский пристав, а за ним показались около десятка вооруженных городовых.

— Стой! — торжествующе крикнул пристав. — Стой, руки вверх!

Но прежде чем он успел нажать собачку своего револьвера, низенький и толстый Фома с неожиданным проворством выхватил револьвер и разбил приставу череп, и все лбовцы почти одновременно ахнули в столпившихся полицейских горячим огневым залпом.

Ошарашенные городовые откачнулись обратно за дверь. Не давая им опомниться, лбовцы кинулись за ними.

— Тащите динамит через огороды! — крикнул Лбов Змею. — А мы их отвлечем на себя.

Через минуту по улицам шла отчаянная стрельба, через две — первая партия полицейских во

весь дух уносилась от лбовцев. Но уже со всех сторон к полиции подбегало подкрепление.

— Забирай динамит! — крикнул еще раз Лбов. — А мы... мы заманим их сейчас в ловушку.

И он приказал остальным:

— Отходи, ребята, за мной, в сторону Ястреба.

И ребята поняли, что он задумал.

Полиция, получив новое подкрепление, снова открыла бешеную стрельбу по отступающим лбовцам. Но все же перейти в открытую атаку полицейские не решались и держались на почтительном расстоянии.

— Не торопись, не торопись, — успокаивая, отрывисто бросал отстреливающийся Лбов своим товарищам, перебегающим от одного уступа к другому.

Лбовцы отходили, полиция наседала. Наконец Лбову надоела эта канитель, и, кроме того, он решил, что ящик с динамитом, должно быть, давно уже в надежном месте. И, раздразнив наконец полицию, он приказал громко:

— А ну, бегом, ребята!

И все быстро кинулись прочь. Полиция поняла это по-своему, она решила, что лбовцы не выдержали и убегают. С торжествующими криками вся

орава бросилась вдогонку. Но это была только ловушка. Прислушивающийся к выстрелам Ястреб давно уже стоял на крыше какого-то сарайчика и, крепко сжимая винтовку, всматривался, силясь разобрать, в чем там дело. Ястреб помнил приказ Лбова — не двигаться с места — и сейчас зоркими глазами разглядывал отступающих в его сторону лбовцев и несшихся за ними преследователей.

Ястреб понял все и криво усмехнулся краями губ. Через минуту он с пятерыми товарищами прильнул за забором.

— Эге-ей… — окрикнул Лбов, не останавливаясь и пробегая мимо.

— Эге-ей… есть, — ответил Ястреб. И когда бегущие полицейские поравнялись с засадой, Ястреб дунул залпом шести винтовок в бок преследователям. Не ожидавшая отсюда удара, полиция дрогнула. А лбовцы, повернувшись, бросились опять на нее с фронта, и расстреливаемые городовые в диком ужасе панически бросились назад…

Через несколько минут соединившиеся лбовцы спокойно уходили за Каму, покрытую полыньями и блесками пятен выступающей весенней воды.

И только когда они были уже возле середины реки, вдогонку им щелкнули три-четыре выстрела.

В этот же вечер к Лбову прибежало еще пять человек, на следующее же утро к шайке примкнуло еще семь.

Через день Лбов, долго ломавший голову над вопросом — кто указал его местопребывание в Мотовилихе, получил сведения о том, что… его нечаянно выдала одна молодая девчонка, которая была захвачена полицией и, желая навести ее на ложный след, случайно указала как раз на ту квартиру, в которой ночью остановился Лбов.

Это было только отчасти правдой, потому что дело тут осложнялось одним неучтенным обстоятельством…

Весна стояла в полном цвету. По Каме свистели пароходы, по рощам свистели соловьи, по лесам свистели пули. И под эти веселые свисты шла веселая, напряженная и бурная жизнь.

И что только было? Ни старики, ни старухи, ни даже древний дед Евграф, который чего только за свои сто лет не успел пересмотреть, и те такого никогда не видели.

Шайка Лбова с красными флажками, прикрепленными к дулам неостывающих винтовок, билась не на жизнь, а не смерть с жандармерией. Билась с веселым смехом, с огневым задором и с жгучей ненавистью. По дорогам рыскали казачьи

патрули, но для лбовцев не было определенных дорог, им везде была дорога.

Астраханкин загорел, его мягкое, ровное лицо обветрилось, и он едва успевал носиться с отрядом от одного края к другому.

Было теплое весеннее утро, такое, когда солнечные лучи искристыми узорами переплетали молодую росистую траву, когда поезд, в котором возвращалась Рита, невдалеке от Перми едва не сошел с рельсов и остановился перед грудой наваленных поперек шпал.

Первый и второй классы были ограблены дочиста, после чего машинисту было разрешено двигаться дальше. По прибытии в Пермь поезд был оцеплен кольцом жандармов, начались сейчас же допросы и дознания и никого не выпускали. Арестовали машиниста и человек десять ни в чем не повинных мужиков и даже одного господина, занимавшего купе мягкого вагона.

Насилу прорвавшийся через сеть жандармов Астраханкин бросился встречать и выручать от дальнейших расспросов Риту. Два раза пробегал он весь состав, потребовал даже у проводников, чтобы они открыли ему все вагонные уборные, заглянул и на багажные полки, но Риты нигде не было.

Хорунжий был вне себя. Два дня и две бессонные ночи он рыскал с ингушами и надеялся напасть на ее след. На третий, совсем отчаявшись и обезумев, он сидел в комнате Риты за столом, на котором лежал заряженный револьвер, и писал сумасшедшую, прощальную записку. В это время бесшумно зашуршала дверь, и в комнату вошла Рита.

Она была бледна и чуть-чуть пошатывалась, и какая-то новая, чужая складка залегла возле ее изломанных и красивых губ.

На все вопросы она отвечала коротко и неохотно: была в поезде, а во время остановки, когда лбовцы стреляли, спряталась в кусты… Потом, испугавшись, бросилась бежать дальше… Заплуталась… Пролежала, простудившись, в крестьянской избе и потом вернулась сюда… Вот и все. А в общем, устала, не хочет, чтобы ее много расспрашивали, и хочет отдохнуть.

Но это была неправда. Если бы отец Риты проснулся этой ночью, то он был бы немало изумлен. Рита встала, накинула поверх рубашки легонькое платьице, босиком пробралась в кабинет отца и потом долго возилась там и один за другим открывала зачем-то ящики его письменного стола.

10. О том, как титулярный советник Чебутыкин попал в Хохловку и какие странные вещи вокруг него творились

На этот раз Феофан Никифорович хотя ехал и налегке, без денежной почты, на которую мог бы кто-либо польститься, но тем не менее некоторое неприятное чувство не покидало его всю дорогу.

Один раз на пути ему попались два вооруженных человека, которые остановили лошадей и попросили у него закурить и которые были весьма удивлены, когда в ответ на такую скромную просьбу Феофан Никифорович что-то завопил и торопливо поднял руки вверх.

Люди, переглянувшись, улыбнулись, залезли к нему в карман, достали коробку спичек, половину отсыпали себе, а половину отдали ему обратно и, поблагодарив, ушли, оставив Феофана Никифоровича в приятном изумлении.

Лошади тронулись. И Чебутыкин поехал дальше, значительно успокоенный, рассуждая приблизительно так, что лбовцы, в сущности, уж не такие страшные люди и иногда даже весьма приятные в обхождении, особенно ежели ехать

без денег.

Второй раз ему пришлось удивиться часом позже, когда, заворачивая по лесной дороге, он наткнулся на странную картину: несколько человек невдалеке от дороги стояли возле телеграфного столба, а один, забравшийся на столб, старательно перерезал провода, и стоящие внизу шумно выражали свое удовольствие при лязге каждой новой падающей проволоки.

Так как это занятие, по мнению Чебутыкина, приносило явный вред почтовому ведомству, чиновником которого он состоял, то вполне естественно, что он сильно возмутился и даже высказал резкий протест против такого образа действий.

Но работающие не обратили никакого внимания ни на Чебутыкина, ни на его протест (тем более что последний был высказан только про себя), если не считать только того, что человек, вынырнувший откуда-то из-за кустов, сказал Чебутыкину вежливо:

— Ежели вы, господин хороший, чего-либо сболтнете лишнего, так мы на обратном пути будем вас того…

А сам похлопал рукой по поясу, а на поясе… бог ты мой, что увидел Чебутыкин на поясе! — два

револьвера, один кинжал, одну бомбу и целую пачку патронов.

И, увидевши такое скопление смертоносных орудий, готовых обрушиться на обратном пути на его голову, Чебутыкин поклялся (опять мысленно), что будет молчать, хотя бы на его глазах повырубили все телеграфные и телефонные столбы по всей дороге.

В Хохловке, куда наконец добрался Чебутыкин, было несколько человек жандармов, и потому Феофан Никифорович почувствовал себя в безопасности и остановился у старосты.

Был праздничный день, по улицам с гармошкой ходили подвыпившие парни, визжали девчата. В общем, было шумно и весело, чересчур даже весело, так что, пожалуй, получалось нехорошо. Например, кто-то, от полноты чувств, запустил в старостино окошко камнем, который попал прямо в голову расположившемуся было отдохнуть Феофану Никифоровичу, чем поверг его в сильнейшее и вполне законное негодование. Он высунулся тогда из окошка, желая уличить виновного в таком неблаговидном поступке, но виновного отыскать было трудно, а просто кто-то из толпы показал Феофану Никифоровичу фигу, чем дело и кончилось.

— Не знаю, что с парнями на селе делается, — почесывая голову, проговорил вошедший в избу староста, — бесятся, охальничают… А тут еще чужаки какие-то, из соседней деревни, что ли, понаехали, баламутят наших. Пойтить позвать жандармов, что ли?

— А сколько их? — поинтересовался Чебутыкин.

— Да человек семь, либо меньше будет.

Староста ушел. В одном конце села завязалась драка, еле разняли. В квартиру лавочника влетел здоровенный булыжник, завернутый в какую-то бумагу, лавочник развернул бумагу, а на ней было такое написано: «Смерть паразитам и эксплуататорам!»

Смысл этой фразы лавочник так и не понял, но, почувствовав в ней что-то недоброе, понес ее к жандармскому унтеру, который и объяснил ему обстоятельно, что тут «такое, такое завернуто», а в общем, «ах они, сукины дети». Жандарм не стал вдаваться в более подробные разъяснения и начал пристегивать шашку.

— Ой, что-то неладное, — проговорил лавочник, встречаясь с Чебутыкиным, который никак не мог сидеть дома, потому что возле дома… черт его знает что такое парни с девками устраивать под

окошками начали. Конечно, ничего особенного… Но все-таки… смотреть как-то неудобно.

— А что? — спросил он.

— Да, так… Смотри-ка, смотри-ка, — шепотом заговорил вдруг лавочник, — рожи какие-то незнакомые.

Чебутыкин обернулся и обомлел. В толпе стоял человек, который еще недавно сидел верхом на телеграфном столбе и перерезывал провода.

Вдруг откуда-то вынырнули два жандарма с озабоченными, встревоженными лицами, и не успел человек опомниться, как его схватили уже за локти и куда-то повели.

Парни шарахнулись в стороны и рассеялись. А Феофан Никифорович, почувствовав себя вдруг в странном и неприятном одиночестве, решил, что, пожалуй, лучше поскорей пройти к своей знакомой — продавщице казенной винной лавки.

Захлопнув за собой калитку, он, уже значительно успокоившись, приоткрыл ее опять и высунул голову, желая поинтересоваться, что же это такое будет.

На улице было пусто, но изо всех окошек торчали любопытные головы. По дороге навстречу жандармам, ведущим арестованного, ковылял старик-нищий, но и он испуганно остановился,

заметивши процессию с арестованным.

Нищий был стар и сгорблен, но когда жандармы сделали шаг мимо него, нищий выпрямился и выстрелил одному из них в спину, другой испуганно шарахнулся в сторону сам, а пленник рванулся вперед.

И почти тотчас же с окраины послышалась частая стрельба, и несколько человек с красным флажком появились откуда-то на улице.

Заметив, что дело принимает такой боевой оборот, Чебутыкин хотел было запереть на засов калитку и спрятаться куда-нибудь подальше, но калитку кто-то сильно толкнул, так что Чебутыкин мячиком отлетел и очутился где-то возле навозной кучи.

Во двор вошел один из лбовцев, стукнул прикладом в дверь, и, когда оттуда выглянуло испуганное лицо продавщицы, он потребовал водки. Та скрылась на минуту, потом дрожащей рукой протянула ему бутылку, но он вдруг вскинул винтовку и почти в упор выстрелил в нее.

Продавщица вскрикнула и упала, лбовец же бросился прочь. А Чебутыкин как стоял возле навозной кучи, так и сел. Он хотел было подняться, но с перепугу ноги не слушались — он так и застыл на месте с фуражкой, сбившейся набок,

и с рукою, крепко уцепившейся за колесо рядом стоящей телеги.

В это время лбовцы разбивали бутылки с вином и грабили кассу казенки.

— Слушай, — волнуясь, крикнул Фома, подбегая к Лбову, отдающему приказания одному из ребят, — слушай, Александр, что же это такое? — И Фома затрепыхался белыми, подслеповатыми ресницами негодующих глаз.

— Что?

— Как что? Я вхожу, смотрю — женщина лежит раненая, кто-то из наших взял да и выстрелил в нее, так просто, ради удовольствия. Это что же такое? Это даже не просто уголовный грабеж, а так, бессмысленный бандитизм какой-то!..

Лбов посмотрел на него гневно и сказал:

— Ты врешь! Если в нее стреляли, так, значит, было за что, у меня даром ребята стрелять не будут…

— Не будут? — опять возмущенно перебил его Фома. — При тебе не будут. А кто на прошлой неделе казака убил, которого ты велел отпустить? Не будут? еще громче начал он. — А как ты чуть отвернешься, так некоторые из твоих новых молодцев всех подряд перестрелять готовы! Попробуй, если хочешь, дай им потачку, попробуй

и посмотри, что тогда получится.

— Я потачки не даю! — взбешенно крикнул Лбов и крепко схватил за руку Фому. — Я никому, никогда не даю, это… ты врешь, а если ты врешь, а если вы там за глазами у меня что-то делаете, так я когда узнаю об этом, то смотри, что я сделаю.

Он выхватил свисток и резким условным сигналом перекликнулся с остальными, и почти тотчас же со всех сторон понеслись на его зов лбовцы.

— Кто убил бабу? — спросил Лбов, когда все собрались около него. Говори прямо.

Все молчали.

— Я спрашиваю: кто убил? — повторил Лбов и мрачно, пытливо посмотрел на окружающих.

— Не знаю… не видал… кто-то хоронится, сукин сын, — послышались в ответ недоумевающие голоса.

— Хорошо, — крикнул тогда Лбов, — я узнаю и так, а когда узнаю, то застрелю его как собаку!

Он шагнул во двор — и Феофан Никифорович умер, а если не совсем умер, то почти что совсем, потому что он услышал только последние слова Лбова и подумал, что это относится лично к нему.

— Ваше благородие, господин начальник, — дрожащим голосом начал он, да… так и остался

с открытым ртом, потому что в вошедшем узнал своего бывшего ямщика, который когда-то так ловко ограбил его.

Лбов заметил Чебутыкина, но, по-видимому, не узнал его. Какая-то мысль осенила вдруг его голову, потому что он подошел к Чебутыкину, взял его за руку и, легонько подымая его, спросил коротко:

— Ты зачем здесь сидишь?

— Я… я отдыхаю, господин ямщик… то есть господин начальник, испуганно забормотал Чебутыкин.

— И давно это ты здесь отдыхаешь?

— Недавно… то есть давно… ваша светлость, — взмолился вдруг он. Да за что же, да разве же я что-нибудь против имею?.. Господи, да когда вы прошлый раз мою почту изволили ограбить, разве же я тогда не сочувствовал? Ведь меня же тогда по подозрению целую неделю в арестном доме продержали… Да зачем же убивать меня… меня? Я человек безвредный, я вот на днях в Ильинское опять с почтой поеду, так, может, тогда, бог даст, ваше сиятельство, опять…

— Молчи, дурак, какое я тебе сиятельство, — усмехнулся Лбов, — никто тебя убивать не хочет, а ты скажи-ка мне, видел, кто убил продавщицу?

— Не видел… то есть видел… то есть я сидел отвернувшись… — и Чебутыкин вопросительно посмотрел на Лбова, стараясь угадать, как тому будет угодно: чтобы он видел или не видел.

— Значит, видел? — подбадривающе сказал Лбов.

— Видел, видел, ваше сиятельство, то есть, господин атаман. Как же не видать, когда я, можно сказать, на навозной куче напротив пребывал.

— А ну-ка, покажи-ка мне его. — И Лбов вывел Чебутыкина за ворота, где, выстроившись, стоял весь отряд.

Лбов и Чебутыкин прошли по фронту, Чебутыкин только было остановился перед человеком, стрелявшим в продавщицу, как вдруг поперхнулся и попятился назад, потому что увидел, как тот предостерегающе посмотрел на него и руку положил на подвешенный сбоку револьвер.

— Никак не могу признать, — начал было он растерянно.

Но Лбов пытливым взором заметил движение человека, потянувшегося к револьверу, и внезапную заминку Чебутыкина.

— Этот? — крикнул он и неожиданно с силой схватил за руки одного из новых, недавно поступивших в его шайку.

— Этот, — упавшим голосом из-за спины Лбова ответил Чебутыкин.

В окошко выглядывали любопытные бабы, невдалеке стояли мужики и внимательно присматривались к происходившему.

— У меня, в Первом революционном отряде пермских партизан, бандитов не должно быть и не будет никогда, — холодно и громко проговорил Лбов. — Так я говорю?

— Так… правильно, — послышались в ответ хмурые голоса.

— Лбов… что ты хочешь? — удивленно спросил его Фома, почувствовавший недобрые нотки в его голосе.

— Оставь, не твое дело, — резко ответил тот.

Затем, перед глазами всего отряда и окружающих мужиков, схватил за руку и дернул вперед стрелявшего так, что тот очутился рядом с Чебутыкиным.

— У меня, в пермском революционно-партизанском отряде, который борется против царизма, бандитов не было и не будет, — повторил он опять.

И в следующую секунду в глазах Чебутыкина сверкнул маузер, в уши ударил грохот, и Чебутыкин покачнулся, считая себя уже погибшим,

но потом сообразил, что стреляли не в него, потому что бывший лбовец зашатался и с проклятием грохнулся на землю, срезанный острой пулей сурово сверкающего глубиной разгневанно-жестоких глаз атамана Лбова, неторопливо вкладывающего дымящийся маузер в кожаную кобуру.

11. Лбов закуривает папиросу

В ящике своего отца, управляющего канцелярией губернатора, Рита не нашла того, что ей было нужно.

Рита сказала не всю правду дома. Верно, что она пролежала два дня в крестьянской избе, верно и то, что в то время, когда лбовцы грабили поезд, она спряталась в придорожной лесной гуще, но она умолчала о том, что виделась с Лбовым, что Лбов посмотрел на нее удивленно и спросил ее, пожимая плечами:

— Опять вы?.. И что вам, вообще, от меня нужно?

— Возьмите меня к себе, — как-то бессознательно, помимо своей воли, сказала Рита.

И сквозь смуглую кожу ее лица засветилась вдруг холодная бледность, когда ответил он ей все так же спокойно:

— Нет, я не возьму вас, потому что вы не нужны ни нам, ни мне, подчеркнул последнее слово, и на побелевших и крепко стиснутых губах Риты выступила рубиновая капелька крови.

Что было в эту минуту на душе у Риты, передать трудно. Рита почувствовала только, что в виски

ударила не то боль, не то большая обида, не то еще что-то тяжелое, а кругом стало так пусто, что воздух зазвенел стеклянным и холодным звоном — это под порывами ветра, стягивающего грозовые тучи, пели и звенели, звенели и пели и со звоном смеялись над Ритой телеграфные провода.

— Хорошо, — сказала она глухо, глядя на траву, по которой белые цветы рассыпались бледными улыбками. — Хорошо, — повторила опять Рита.

Силы ее оставляли. Она кровянила и сжимала острыми зубами губы, чтобы выдержать еще минуту и уйти, хотя бы видимо спокойной. Она повернулась и сделала шаг вперед.

— Постойте, — остановил ее Лбов, с удивлением всматриваясь в непокорные, с трудом сдерживаемые ее волей черты ее лица, — скажите, зачем вам к нам в отряд? Вы дворянка, аристократка, а я… — голос Лбова зазвенел, — я ненавижу аристократов и… уходите.

Рита сделала еще шаг.

— И уходите скорей, — повторил Лбов, — потому что я не знаю, почему я не пустил вам пулю из своего маузера.

Рита остановилась, не меняя выражения лица и как бы подчеркивая, что она не будет иметь

ничего против, если он возьмется за маузер.

Лбов был несколько ошеломлен, он помолчал немного, потом медленно и четко сказал:

— Для меня ничего, кроме моей ненависти к жандармам и ко всем, кто за жандармов, за полицию и за охранное отделение, нет, и я не верю аристократам, но вам почему-то я немного, очень немного, а все-таки верю. И я позволю вам чем-либо доказать… — он запнулся, потом добавил уже совсем другим тоном: — У меня в отряде есть провокатор, и я не знаю его…

Он повернулся и ушел, подозревая, презирая, но и удивляясь какой-то скрытой силе, руководящей безрассудными поступками взбалмошной девчонки.

…Через несколько дней Лбов, Фома и еще один парень были в Мотовилихе без винтовок, но с револьверами, запрятанными в глубину карманов, и с бомбами, засунутыми за пазуху.

Лбов зашел к Смирнову и уговорился там, когда и в какое время он встретится с представителями загнанных в подполье революционных партий. Было решено, что это будет в субботу, здесь же, а чтобы не навлекать никаких подозрений, Лбов должен явиться скрытно и один.

Солнце уже было у горизонта, когда Лбов со сво-

ими двумя спутниками возвращался обратно. На углу одной из улиц они остановились, Лбов вынул папиросу, а Фома вслух читал объявление о том, что «за поимку государственного преступника, разбойника Лбова, будет выдана немедленно крупная денежная сумма».

Лбов усмехнулся, сунул папироску в рот и сказал, обращаясь к Фоме:

— Расщедрились, сволочи, думают подкупить, так все равно без толку. Кто за меня стоит, тот не выдаст, а кто против меня, тот не выдаст тоже, потому что боится, что мои же ребята после ему шею свернут… Дай спичку.

— Нету, — ответил, пошарив в карманах, Фома, — забыл на столе.

— А курить охота, — Лбов оглянулся, вблизи никого не было, только на перекрестке, облокотившись на винтовку, стоял городовой.

— Постой, — усмехнувшись, сказал Лбов, — пойду достану огня. — И он направился к полицейскому.

— Разрешите прикурить, — хмуро прищуривая глаза, вежливо попросил Лбов.

— Проваливай, проваливай, — грубо ответил тот, оборачиваясь и заглядывая в лицо просившему.

— Разве спички жалко? — начал было опять Лбов.

Но полицейский, разглядев его лицо, на глазах у Лбова начал вдруг бледнеть и, тяжело дыша, торопливо и испуганно хлопать глазами. По-видимому, он узнал Лбова, потому что дрожащими руками полез в карманы, достал коробок и, щелкая зубами, выбивающими дробь, чиркнул спичку — она сломалась, чиркнул другую — опять сломалась, наконец третья зажглась, он протянул ее к папиросе спокойно заложившего руки в карманы Лбова и долго никак не мог приложить огонь к ее концу и зажечь ее, потому что и огонь стал, должно быть, холодным от сильного озноба, охватившего городового.

— Спасибо, — спокойно ответил Лбов и, не оборачиваясь, пошел дальше.

Он не боялся выстрела в спину, потому что знал, что полицейский не в силах сейчас ни поднять десятифунтовую винтовку, ни раскрыть застегнутую кобуру револьвера.

Когда Лбов скрылся из глаз городового, тот вздохнул облегченно, снявши шапку, перекрестился и рукавом вытер мокрый лоб — белый, покрытый каплями холодного и крупного пота.

12. Раскрытое предательство

В субботу, после обеда, Астраханкин зашел к Рите и передал ей, что сегодня вечером он не сможет быть с ней в театре, потому, что, по-видимому, будет большое дело.

— Какое? — насторожилась Рита.

— Опять со Лбовым.

— Со Лбовым? — равнодушно переспросила Рита, по-видимому, очень мало интересуясь этим.

Она подсела к нему, взяла его руку и спросила ласково:

— Что это вы последнее время хмурый такой?

— Рита, — начал было Астраханкин укоризненно, — Рита, и вы еще спрашиваете…

Рита засмеялась негромко и мягко, но сквозь эту мягкость чуть-чуть проглядывали нотки хорошо скрытой, крепко-крепко спрятанной грусти. Но Астраханкин не уловил их. У него была слишком казачья натура, он умел хорошо джигитовать, замечательно танцевать кавказского «шамиля» и с одного маха рубить на скаку связанные фашинами ивовые прутья. И где ему было разбираться в оттенках.

Он обрадовался, потому что не видел давно

Риту такой привлекательной, подвинулся к ней ближе и, не выпуская ее руки, заглянул в лицо.

— А вас не убьют? — участливо спросила она.

— Не должны бы, а, впрочем, кто от этого застрахован? Сегодня Лбова наверняка возьмут. Только вряд ли живым удастся.

— Как, кто возьмет?! — крикнула Рита, но тотчас же замолчала и потом спросила лениво: — Где?

— В Мотовилихе. У него там сегодня какое-то совещание, нам донесли об этом из его же шайки.

Рита насторожилась, сердце у ней забилось быстро-быстро… Еще чуть-чуть, еще немного, и она узнает все. Она сама подвинулась к Астраханкину совсем вплотную и положила ему другую руку на колени.

— А может быть, это неправда… кто вам сказал про это?

— Тут… — Астраханкин замялся.

А Рита поглядела на него, крепко опутывая его взглядом хороших, ласковых глаз.

— Это… это секрет большой, Рита, и я, конечно, не вправе… Но, я надеюсь на вас. Видите ли, у него в отряде есть одна женщина.

— Женщина? — удивленно переспросила Рита, и ей вдруг вспомнилась лунная поляна в лесу и

закутанная в платок тень, пробегающая, осторожно озираясь, мимо деревьев.

— Да, представьте себе, женщина… еврейка. Это очень интересная история: ее муж революционер, его ждет приговор к смертной казни, и ей было обещано, что если она сумеет выдать Лбова, то мужа ее помилуют. Она, знаете… сейчас у Лбова, и вот сегодня один человек принес от нее записку, где она указывает прямо. Теперь это дело верное.

Рита отодвинулась от Астраханкина, сняла руку с колена, потом — как бы поправить прическу — высвободила другую — она знала все, что ей было нужно, и теперь это было ни к чему. Астраханкин торопился, ему надо было сделать кое-какие приготовления.

Едва он ушел, Рита забежала к себе в комнату, сунула в карман маленький браунинг, вышла на двор и, оседлавши лошадь, вскочила в седло и умчалась куда-то, по обыкновению ничего не сказав дома. Надо было предупредить, во что бы то ни стало предупредить Лбова, если еще не поздно.

Около Мотовилихи она остановилась и сообразила, что она ведь ни с кем не условилась, не уговорилась, где может разыскать Лбова и как

передать ему. И Рите стало холодно при мысли о том, что она, по-видимому, ничего не сможет сделать.

Вдруг счастливая мысль осенила ее голову, она вспомнила, как Астраханкин говорил ей, между прочим, что Соликамский тракт стал за последнее время самым опасным местом и лбовцы то и дело шныряют там и перестреливаются с разъездами жандармов. Рита жиганула нагайкой лошадь и понеслась туда.

Но было пусто и глухо на покинутой разбойной дороге. Проскакавши порядочно, Рита остановилась возле какого-то домика, выросшего перед ней из-за кустов, и, чувствуя, что горло ее пересыхает, привязала лошадь и вошла во двор.

Во дворе стоял сгорбленный старик и о чем-то разговаривал с длинным, тощим монахом с жестяной жертвовательной кружкой, болтающейся около живота, и рыжеватыми, всклокоченными волосами, выбивающимися из-под затрепанной скуфейки. Рита попросила пить. Старик пошел в хату за квасом, а Рита с монахом осталась во дворе.

— Пожертвуйте что-либо на построение божьего храма, — вкрадчиво, заискивающим голосом заговорил монах.

И при этих словах Рита вздрогнула, как будто бы ее обожгло чем-то, и быстро вскинула на него глаза. Голос показался ей сильно знакомым. Но это был самый обыкновенный бродячий монах, с острым носом, с бородкой, похожей на клочок мха, выросший на иссохшем пне, один из тех, которые в своих бездонных карманах всегда имеют для продажи все, начиная от саровской просфоры и до вывезенного из Иерусалима кусочка дерева, отломанного от подлинного святого креста господня.

Не спуская с него глаз, Рита потянулась к кошельку, достала оттуда золотую монету и бросила ее в кружку, а сама подумала: «Ой, врешь, ой, и врешь же ты, и вовсе ты не монах».

Рита хотела заговорить с ним и спросить его, не лбовец ли он, но она могла ошибиться и выдать себя, да и он, не зная, зачем это ей нужно, мог не сказать ей правды. Тогда Рита усмехнулась, сообразив что-то, она отступила назад, сунула руку в карман, спокойно вынула оттуда револьвер и стала как будто его рассматривать. И от ее глаз не укрылось, что лицо монаха, не понявшего этот маневр, стало вдруг хищным и злым, а рука его быстро опустилась в карман рясы. Рита положила обратно браунинг — она узнала, что ей было

нужно, и подошла к нему.

— Бросьте играть комедию, — усмехнулась она, — я вас узнала, вы один из лбовцев и однажды чуть-чуть не убили меня кинжалом… А сейчас вы мне очень нужны, потому что Лбову устраивают в Мотовилихе засаду, а он ничего об этом не знает.

Вышел хозяин с кружкой кваса и расслабленной, старческой походкой направился к Рите. Рита сделала несколько глотков и отдала ему кружку. Когда она подняла голову, то увидела в руках монаха свой револьвер, — пока она пила, он ловко вытащил его из ее кармана.

— Ну, теперь поговорим, — сказал он.

— Поговорим, — ответила Рита и вопросительно посмотрела на старика.

— Ничего, — и крикнул ему: — Эй, дедушка Никифор, покарауль-ка пока нас!

И Рита с удивлением увидела, как дедушка Никифор, убедившись, очевидно, что притворяться незачем, распрямился, помолодел лет на двадцать и, бегом направившись к ограде, залез на забор.

Рита с жаром начала рассказывать монаху, в чем дело.

— Карамба… — прошипел, оборачивая голову,

монах, — как бы не было уже поздно.

В это время старик с забора закричал, что далеко видно, как едут сюда шагом двое конных, должно быть, жандармский патруль. Колебаться было некогда. Змей схватил Риту за руку:

— Скорей, садись на коня и скачи дальше, где на правой стороне будет обгорелая поляна, там сверни и поезжай прямо, пока тебя не остановят. Когда спросят: «Кто такая?» — так отвечай: «Одного поля ягода» — и скажи им, что Змей сейчас же велел проводить тебя к Лбову… Скорей, может быть, еще застанешь его, а если не застанешь ты, так застану я в Мотовилихе.

— Ну туда же далеко! — крикнула Рита. — И вы не успеете.

— Успею, — ответил тот. — Я сейчас выкину одну штуку… скачи.

И оттолкнувшаяся от земли, чуть прикоснувшись ногой к стремени, Рита взлетела на лошадь, ударила ее каблуками, пригнувшись вперед, прошептала:

— Надо успеть…

Доскакав до обгоревшей поляны, Рита свернула вправо в лес. Пока деревья шли высокие и попадались редко, Рита продолжала двигаться не слезая с лошади, но потом, когда чаща начала

замыкаться и окутывать ее, а ветви то и дело задевали по голове, Рита спрыгнула с седла и повела лошадь на поводу.

Вдали послышался негромкий стук, как будто бы кто-то колол дрова. Рита прибавила шагу — стук послышался совсем близко, чаща вдруг оборвалась, и перед Ритой открылась большая поляна, на которой дымились костры, сновали люди, а посередине была разбита большая палатка.

«Как, однако, они неосторожны, — подумала Рита, — никто даже не остановил меня».

Но она ошиблась, потому что, обернувшись, для того чтобы привязать лошадь, она увидела за спиной у себя двух человек, внимательно смотревших на нее и, очевидно, давно следивших за ней.

— Ты кто такая? — спросил ее один.

Рита ответила, как велел ей Змей, и попросила сейчас же отвести ее к Лбову. Лицо спрашивающего резко изменилось, когда он услышал знакомый пароль, человек схватил ее за руку и мимо костров, мимо лбовцев, провожавших ее удивленными взглядами, повел к палатке. В палатке был только один Демон. Он лежал на куче сухой листвы и читал французскую книгу.

— Что вам нужно? — удивленно спросил он.

— Где Лбов?

— Что вам нужно? — переспросил он ее опять, вставая.

Рита рассказала.

Демон выхватил из-за пояса револьвер, выбежал из палатки и три раза выстрелил в воздух. И тотчас же, вскакивая с земли, бросая неоконченный ужин и торопливо закидывая за плечи винтовки, повскакали и бросились к палатке встревоженные лбовцы.

— Но где же Лбов? — повторила опять Рита.

— Поздно уже, — ответил Демон. — Лбов там, и я боюсь, как бы не пришлось нам отбивать его у жандармов силою, если… если только его захватят живым, в чем я сильно сомневаюсь.

— У вас тут есть женщина, — по-французски сказала Рита Демону, — это она предала его.

— Женщина? — крикнул изумленный Демон. — Она здесь… Приведите сюда эту чертову бабу ко мне, — приказал он одному из лбовцев.

Через несколько минут ничего не подозревающую женщину ввели в палатку.

— Зачем я вам нужна?.. — начала было она, но, увидев Риту, остановилась.

И обе женщины пристально-пристально по-

смотрели одна на другую, и в темных провалах загадочных глаз еврейки и на длинных ресницах Риты зажглась и задрожала открытая ненависть.

— Матрос, — приказал Демон, — я поручаю ее тебе, береги ее, как свою голову, а если у нас будет схватка и возиться с ней будет некогда, застрели ее тогда как собаку, понял?..

— Я поеду, — сказала Рита, — мне надо возвращаться.

— Спасибо, — крепко пожал ей руку Демон, — спасибо, но скажите, кто вы такая и зачем это вы?..

— Он знает, — глухо, глядя на кончик своего опущенного хлыста, ответила Рита. — Он знает и кто, и зачем.

Ничего не понимающий Демон изумленно посмотрел на нее, а она повела лошадь обратно через гущу, потом наконец вышла на дорогу и вскочила в седло.

Было совсем темно, и Рита, опустив поводья, поехала шагом. Голова ее горела, и все случившееся казалось ей каким-то странным, удивительным сном. Рита была спокойна, она почему-то была уверена, что на этот раз Лбов вывернется опять.

«Какое мне, в сущности, дело?» — попробовала было подумать она. Но все, все в ней запроте-

стовало, и она тотчас же почувствовала всю напускную фальшь этого вопроса, потому что Лбов был единственным человеком на ее пути, который так резко отличался от остальных, похожих один на другого, крепко затянутых болотом, на котором посреди чавкающей, затянутой подкрашенной травой тины желтыми цветами сияли пышные генеральские эполеты, тонкими лилиями, стиснутые петлей корсетных приличий, напудренные женщины и старые серые жабы, воспевающие гимны красоте и уюту, — своей родной стихии…

А Лбов… Сумасшедший Лбов, бросившийся на заранее обреченную на гибель авантюру, как он высоко стоял у Риты в глазах — он, слившийся с маузером, от которого дрожь всадника передавалась коням и к огневому языку которого прислушивалась встревоженная жандармерия всего Урала.

Возле домика на дороге Рита опять остановилась, соскочила с лошади и стала привязывать ее к плетню, но откуда-то вынырнули два человека — по отблеску раззолоченных кантов Рита узнала в них жандармов — и, прежде чем она успела что-либо сообразить, они крепко заломили ей руки назад.

— Стой, курва, — грубо крикнул один, — ты чего по ночам рыскаешь?..

От такого «вежливого» обращения Рита взбесилась и рванулась, собираясь крикнуть им, кто она такая, но, сообразив что-то, стиснула губы, рассмеялась и замолчала.

На все вопросы она не отвечала ничего, ее посадили верхом, и четверо конных повезли ее по направлению к городу.

«Как мне быть? — подумала Рита, — сейчас отвезут, должно быть, в жандармское, будет скандал, дома откроется все… что же теперь делать?»

Ночь была жгучая, темная, кони плыли шагом по густой, плотной темноте, насторожившиеся стражники с винтовками, взятыми на руку, чутко прислушивались к шороху враждебно-притаившихся придорожных кустов и молчали. Рита молчала тоже.

А в это время в Мотовилихе разыгралось такое дело.

13. Под покровом ночи

Штука, которую выкинул оставшийся во дворе переодетый монахом Змей, не была особенно замысловатой. Он спрятался в кусты, подождал, пока подъехавшие жандармы соскочили с коней, и когда один из них направился в хату, а другой остался сторожить лошадей, Змей, подкравшись сзади, всадил ему в спину свой длинный, неизменный нож, потом перерезал этим же ножом подпругу седла и уздечку одной лошади, а сам подскочил к другой. Но, сообразив что-то, он вернулся к убитому, стащил с него мундир, штаны, шашку, фуражку и так стремительно умчался верхом, что даже пуля, посланная вдогонку выскочившим из хаты жандармом, не догнала его.

Возле поселка он переоделся в жандармскую форму и смело въехал на улицы Мотовилихи. Еще задолго, не доезжая до дома, где должен был быть Лбов, Змей увидел около сотни ингушей, под покровом темноты пробирающихся вперед.

«Ого», — подумал Змей и поскакал быстрее. Чтобы не столкнуться с ингушами, он взял правее с тем, чтобы переулками подъехать к дому с другой стороны.

— Стой! — крикнул ему кто-то со стороны огородов. — Кто едет?

— Свой! — Змей спустил предохранитель револьвера.

Сквозь просвет разорванного облака упало на землю лунное пятно, и Змей разглядел целую цепь полиции, пробирающуюся к дому с другой стороны.

«Ого», — опять подумал Змей и рванул поводья. Предполагая, что за домом, вероятно, уже сидят жандармы, он соскочил с лошади, немного не доезжая, и через заборы, через какие-то сарайчики, добрался до двора.

«Сейчас Лбов убьет», — сообразил он, взглянув на поблескивающий и обшитый золотой тесьмой рукав своего жандармского мундира. Он постучался в дверь и крикнул негромко:

— Сашка, чур, не стрелять, это я — Змей, переодетый.

Дверь распахнулась, и под пытливыми взглядами пяти насторожившихся револьверов Змей вошел в комнату.

— Ишь ты, черт, как вырядился, — сказал Лбов, — тебя зачем принесло?

— Сашка… ведь ты пропал, — торопливо заговорил Змей, — дом окружают, с одного конца

ингуши, с другой полиция, — тебя предали.

— Отобьемся, — хищно блеснув глазами, крикнул Лбов.

— И не думай даже, их много — и пешие, и конные… Ты вот что, мы сейчас откроем стрельбу, а ты беги через заборы, там, возле угла, стоит оседланная лошадь — может, вырвешься.

— Нет, — после легкого колебания ответил Лбов, — пропадать — так всем вместе. Давай за мной, ребята, и помните, что кто раньше времени выстрелит, хоть нарочно, хоть нечаянно, тому я сзади в башку сейчас же выстрелю. Раз тут так не отобьешься, значит, надо по-другому.

Они выскочили во двор, оттуда через заборы в соседний, оттуда в следующий, но квартал был весь оцеплен.

Тогда Лбов сказал Змею:

— Ты в форме жандарма, мы сейчас выйдем и пойдем прямо напролом, если тебя спросят, кто мы такие, говори — арестованные. Ну, ребята, попробуем, не все ли равно, что так пропадать, что эдак, главное — больше спокойствия.

А луна, как назло, заблестела в прорывы быстро летящих туч — свет и тень, тень и свет, — и все шестеро, распахнувши калитку, вышли на улицу. Не прошли они и сорока шагов, как впереди

показалось звено из цепи ингушей.

Но ни один из шестерых не побежал, не свернул, а все они, руки опустивши в карманы, сдерживая волею удары сердец, выстрелами трепыхающихся под рубахами, пошли прямо.

Ингуши их заметили еще издалека. Но ни одна винтовка не взметнулась в их сторону, ни одна рука не потянулась к эфесу шашки, ибо слишком уж большим дураком или невероятно проницательным умником должен был быть тот, у кого могло бы мелькнуть подозрение, что прямо навстречу, отдаваясь в руки вооруженного до зубов отряда, идет без выстрела сам Лбов.

— Что такие за люди? — ломаным языком спросил у Змея один кавказец, должно быть, вахмистр.

— Скандальщики, в полицейское управление для протокола, — ответил тот, останавливаясь. И выругался: — А вы что, дураки, отстаете, ваши уже давно на месте, а вы тут еще валандаетесь?

Ингуш на гортанном наречии подал тогда негромко какую-то команду, и мимо остановившихся посреди улицы лбовцев, прибавляя шагу, поскакали ингуши, сдерживая горячившихся коней и поблескивая остриями высоких, закинутых за плечо пик.

— Бежим! — крикнул Змей, когда топот немного затих. — Они могут вернуться…

— Ого, ого… Ну, Нет, — запротестовал Лбов, — зачем же так без толку ходить, ты смотри, что сейчас получится.

Они зашли на другую улицу, поднялись на горку, так, что, оставаясь укрытыми, они видели, как впереди, отделенная от них рядами заборов и переулками, тихо плыла и, наконец, встала на место ровная шеренга казачьих пик.

— Ну, ребята, теперь давай! — вынимая револьвер, скомандовал Лбов.

Все нацелились.

— Р-р-а-з…

И вздрогнула ночь от раската грохнувших выстрелов.

Другой…

И опять вздрогнула ночь, и заметалась испуганно расстреливаемая темнота.

Не разобрав, откуда стреляют, полиция из-за огородов открыла стрельбу по дому, в котором, по ее точным расчетам, должен был находиться Лбов, и пули полетели в сторону ингушей. Предполагая, в свою очередь, что это по ним кроют лбовцы, ингуши открыли огонь по дому — и пули полетели в полицию. В темноте огни выстрелов

вспыхивали фейерверочными блесками — кто-то командовал, кто-то свистел, кто-то кричал: «Стойте, стойте!.. Чего же вы по своим, черти, дуете!»

— Ого-ого! — крикнул, восторженно изгибаясь от радости, Змей, — вон оно как пошло!

А Лбов стоял, облокотившись на бревно, и пристально, внимательно смотрел вниз, но что он думал в эту огневую минуту, он не сказал никому. Горделивая складка прорезала его хмурый лоб, и, точно чувствуя, как насыщенная огнем и криками ночь дает ему новую силу, он распрямил свои широкие крепкие плечи и сказал коротко:

— Ну, теперь идем.

Через два часа были две встречи.

Связанная Рита попала к Астраханкину, отряд которого после неудачной схватки собирался возвращаться в город. Когда Астраханкин увидел Риту, он побледнел, стегнул нагайкой двух жандармов, конвоировавших ее, приказал развязать ей руки и, молча посмотрев на нее, не сказал ничего — совсем ничего.

Подвигаясь шагом впереди отряда к дому, Астраханкин впервые, должно быть, не прямо сидел в казачьем седле, а опустил голову, точно был не в силах нести в ней какое-то мучительно-тяжелое подозрение, помимо его воли крепко

опутавшее его.

А вторая встреча была Лбова с Женщиной.

— Ты что же? — спросил он и сильной рукой рванул ее на себя. Но женщина ничего не ответила.

Лбов вынул маузер, медленно вскинул его к груди и выстрелил. И, падая, женщина слегка вскрикнула, и так же загадочно, как и всегда, светились темнотой провалы ее потухающих глаз, в которых не отразился ни мягкий лунный свет, ни одна из звезд, густо пересыпавших ночное небо.

14. О том, как Лбов собирался Пермь брать

Июльские ветры знойные, лучистые. Июльские ночи теплые, пряные, когда Кама мягкими волнами плещет на отлогие песчаные берега и журчит веслами шныряющих лодчонок, эти ночи перекликаются эхом с гудками залитых огнями пароходов, у которых искры из трубы, вылетая, танцуют, кружатся и тают меж рассыпанных по небу горячих звезд.

И в такую летнюю, беспокойную ночь в двадцати верстах от Мотовилихи на большой поляне, вырванной у гущи заснувшего леса, — костры, костры, песни, бурчащие варевом котлы, дымный смех, огневые речи, что винтовочные заряды, и черная ненависть, как кинжальная сталь.

Сегодня Лбов из разных краев Урала собрал командиров своих разбросанных повсюду шаек. Был здесь Ястреб, у которого в красноватых глазах из уральского камня отсвечивалась огоньком непотухающая трубка. Был Матрос с сережкой в надорванном ухе и часами, у которых вместо брелка повешена заряженная бомба. Был Столь-

ников с неразглаженными морщинами вечно думающего о чем-то лба, на котором лежал уже отпечаток близкого сумасшествия. Были Демон, Змей, Фома, Сибиряк, Черкес, Сокол, одноглазый Ворон… И многие другие атаманы были. Недовольно посмотрел Лбов, прерывая речь, и сказал Матросу строго:

— Чего это там твой конвой разорался? Опять перепились. Да и сам-то ты, всегда от тебя несет, как от винной бочки!

— Полно, — ответил Матрос, играя двухфунтовым брелком, — что ты, Лбов, святыми, что ли, нас хочешь сделать?..

— Не святыми, а распускаетесь здорово, грабить без толку начали. Вон вчера у Ворона один другого ножом пырнул, поделить не сумели чего-то.

— Так то у Ворона, а у меня этого нет, у меня, брат, всегда распределено, кому сколько.

— Ой, смотри, Матрос, — и усмешка мелькнула у Лбова, — не всегда и не на все у меня глаза закрыты, не слишком ли у тебя уж распределено, кому, что и сколько? Бандитом настоящим, того и гляди, станешь.

Бросил играть брелком Матрос, отвернул глаза и сказал Змею, но негромко, так, чтобы не слышал Лбов:

— Что же нам, монахами, что ли, быть? На то и разбойничали, чтобы грабить, на то и живем, чтобы пить, а то что ж тогда, волчья жизнь совсем получится. Да что он, с ума, что ли, сошел, аль не видит — все кругом пьют, а не мои только, а нас-то теперь, если всех подсчитать, так много будет… Я думаю, что около четырехсот наверняка наберется.

Но Змей посмотрел на него злыми, желтыми глазами, перекривил свое и без того искаженное лицо:

— Много… Это наша и беда, что много.

Говорил опять опьяненный успехами Лбов. Говорил, что довольно мелочью заниматься и надо на широкую дорогу выходить. Уже немало винных лавок разгромлено, уже немало крупных заводских контор разбито. В Полазне, Добрянке, Чермозе, Юго-Камске… Пеплом развеяли дачи-поместья многих князьков и дворян. Уже перерублены телеграфные столбы, то и дело перевертываются железнодорожные рельсы, а жандармы не ездят больше парами, а ингуши не гарцуют одиночками.

— А что же еще делать, — заговорил Стольников, — объявить разве войну государю-императору? Я думаю, если послать ему бумагу и

написать в ней, пусть лучше он добром… — но здесь Стольников оборвался и замолчал, как и всегда, оканчивая думать только про себя.

— Война и так объявлена, — ответил Лбов, — мы теперь не одиночки, нас много, но нам надо еще больше, а для этого нужно, чтобы все видели, что мы сильны, мы должны поднять на ноги весь Урал.

— И как? — спросил молчавший до этого Фома. — Что же ты хочешь делать?

— Что… что делать? — присоединились к Фоме еще несколько атаманов, настораживаясь и заглядывая в лицо Лбову, по которому пятна колыхающего пламени от разгоревшегося костра переливались дымно-красными оттенками.

— Надо взять Пермь, — сказал тогда Лбов и замолчал.

Замолчали и насупившие брови генералы этого войска, ошарашенные размахом замыслов Лбова, так уверенно выбросившего это предложение.

Потом горячие споры поднялись около этого плана.

— Взять-то мы можем, возьмем, особенно если с налета, — говорил Ястреб, — но мы же не удержимся там долго.

— И не надо, — все более и более разгорался

Лбов. — И не надо… Мы разобьем тюрьму, мы разграбим охранку, повесим всех аристократов, возьмем заложником губернатора… И когда об этом узнает вся Россия, со всех концов к нам потянется такой же народ, как мы, у нас будут тысячи, и мы выйдем тогда из леса в города, на улицы.

— Пермь?.. Взять Пермь! — восхищенный и подавленный этой мыслью, заговорил Змей, точно задыхаясь от приступа лихорадочного кашля.

— Да, Пермь город богатый, там мы наложим, как это… контрибуцию на всю буржуазию, — вставил Матрос.

— Идет… идет, — загудели кругом голоса. — Надо составить план… надо скорее… Ура Лбову!.. Мы тебя в губернаторском доме поселим, а на доме поставим красный флаг.

Последняя мысль о флаге почему-то показалась чудовищно дерзостной Стольникову, морщины его лица на мгновение разошлись, и он как-то по-детски радостно вскрикнул:

— Над губернаторским!.. на большом шесте и красный флаг!.. пусть… пусть… — он замолчал.

И тогда встал Лбов и, точно сообщая о том, что назавтра надо будет ограбить почту или разгромить казенку, сказал громко и просто:

— Значит, решено. Будем брать Пермь! — Но

сколько веры, сколько жизни было вложено им в эти простые, чеканные слова.

Долго еще обсуждали, горячились, спорили. Прискакал дозорный и сообщил, что на дороге, верстах в пяти отсюда, движется какой-то отряд, человек в двадцать пять; но на это сообщение на радостях почти не обратили никакого внимания, а просто выслали навстречу Ворона с его шайкой, чтобы он разделался с ними как следует.

Было решено: Пермь взять во второй половине июля, а до того времени поручить Ястребу произвести какую-нибудь крупную экспроприацию, чтобы достать тысяч сорок денег, необходимых для подготовки наступления.

— Хорошо, я достану, — сказал тот, подумав.

— Где?

— Я ограблю «Анну Степановну», это один из самых больших камских пароходов.

— Но как же ты сможешь ограбить пароход? — закидали его вопросами удивленные лбовцы. — Атаковать на лодках будешь, что ли?

— Это уже мое дело, — уклонился от ответа Ястреб. — Если я сказал, значит, это будет так.

А ночь все гуще и гуще опутывала землю, по лесу неслись веселые крики, играла гармония, и разбуженные деревья шелестели листвой

удивленно, а разбойные, ничего не боящиеся соловьи насвистывали торжественные марши сумасшедшим людям, их безумным замыслам и безрассудно смелому атаману.

15. Ограбление парохода «Анна Степановна»

В семь часов вечера второго июля на пристани толпилось много народа. Матросы суетливо сновали по трапу, пассажиры прощались; пароход горел огнями и, точно от запаса скрытой могучей силы, нетерпеливо вздрагивал всем корпусом.

Как раз в ту минуту, когда сходни хотели было уже убирать и запоздавшие провожающие торопливо кинулись с парохода, с берега человек около шести, хорошо одетых и совершенно не внушавших никаких подозрений шныряющим повсюду жандармам, прошли на палубу. Среди них были две женщины, которые шутили, смеялись и перекидывались фразами со своими спутниками. И из обрывков этих фраз окружающие могли бы понять, что это самая обыкновенная веселая компания, отправляющаяся в небольшую речную прогулку.

Пароход загудел, задышали искрами огромные трубы, и огни Перми, раскинувшейся над горою, тронулись с места и тихо поплыли назад.

Был теплый летний вечер. Пристав Горобко,

облокотившись на перила, смотрел на клокочущую под винтом воду и молча курил папиросу. Он ехал в Оханск выяснить, в каком положении находятся там местные революционные организации, ибо, по последним сведениям, зараза лбовщины начала доходить и туда.

Еще один поворот Камы, и скрылись огни Перми. Горобко зашел в буфет и, не найдя там свободного столика, попросил разрешения присесть к столу двух пассажирок, в последнюю минуту подоспевших на пароход. Пристав заказал бутылку вина и черной икры с лимоном. Несколько бокалов оживили Горобко, и он начал разглядывать своих спутниц. У одной белокурой было интеллигентное лицо, ей можно было дать не более двадцати пяти лет, у другой — черты лица были много грубее, волосы рыжеватые, и говорила она низким грудным голосом.

— Я вам не мешаю? — вежливо прикладывая руку к козырьку, спросил Горобко, желая завязать с ними разговор.

Но белокурая женщина рассмеялась в ответ звонко, и видно было, что она совершенно ничего не имеет против того, чтобы Горобко заговорил с ней, и ответила ему приветливо:

— Мешаете? Отчего же, напротив, мы очень

рады.

Обрадованный такой снисходительностью, Горобко представился и узнал, что одну из женщин зовут Мартой, другую — Ольгой и обе они едут в Оханск, к своему дяде, тамошнему исправнику. Вскоре была заказана еще бутылка, пили уже вместе. Горобко подсел поближе и сделал попытку взять руку белокурой женщины, причем с ее стороны препятствий никаких на это не встретил. Женщины были, по-видимому, робки, потому что они спрашивали Горобко о лбовцах, о том, что они много грабят и что недавно даже посланные им дядею деньги с одним знакомым человеком попали в руки этой шайке.

— Конечно, по дорогам возить опасно, там их, черт знает, шныряет сколько. У нас почтовые чиновники теперь совершенно не ездят с деньгами без стражи. Другое дело здесь, на пароходе. Здесь почта чувствует себя вполне безопасно, потому что, к счастью, у лбовцев ни своих речных крейсеров, ни подводных лодок нет еще, а попробуй они с берега пароход обстрелять, так у нас тут четыре человека охраны и мы в ответ такую канонаду откроем, что только берегись!

После этого сообщения женщины, мило улыбнувшись, заявили, что им надо пойти на палубу,

и выразили уверенность, что они скоро с ним еще встретятся. Горобко пошел к себе в каюту, но в каюте ему не сиделось, он вышел тоже на палубу и, пробираясь между высыпавшими наверх пассажирами, увидел двух дам, оживленно разговаривающих с пожилым джентльменом, не выпускающим изо рта дымящуюся трубку, и краем уха Горобко уловил, как тот сказал им:

— Вы себя должны вести осторожнее, а потом, это будет не раньше, чем в 3 часа.

«Должно быть, папаша делает выговор, что они пофлиртовали со мной», подумал Горобко, неприятно удивленный, что дамы на пароходе с родственниками, так как он только что думал попытаться пригласить одну из них к себе в каюту.

В это время к приставу подошел жандармский унтер-офицер, доложивший ему взволнованно:

— Ваше благородие, там в третьем классе мужик сидит. Стал он чай пить, а я как рядом был, так и ахнул, гляжу: ус-то один у него и отвалился.

— Что ты, дурак, мелешь, ты пьян, что ли? — рассердился Горобко. — Как так — ус отвалился?

— А так, ваше благородие, стал он, значит, чай пить, а сам ситным с колбасой закусывал, потом вынул платок, провел по губам, а ус-то и упал, ну

только он живо подхватил его и живо приладил, а я как будто ничего не заметил.

Горобко, раздосадованный тем, что ему не дали возможности подслушать дальше разговор дамочек, и в то же время встревоженный таким странным исчезновением мужичьего уса, направился в третий класс. Но сколько они оба ни ходили, никакого такого мужика не нашли, из чего Горобко заключил, что унтер был пьян, а потому легонько двинул его в шею и, обозвав скотиной, приказал сидеть ему в почтовом отделении, а не шататься без толку по пароходу.

Берега стали черными. Река скрылась, окутанная ночным туманом. Только винт неумолчно работал, бурлил и отбивался от смыкающейся вокруг него воды. Изредка впереди, точно пляшущие звездочки, показывались огоньки снующих лодчонок, бревенчатых плотов, а один раз огненным пятном выплыл встречный пароход и заревел сиреною так, что это эхо долго металось, долго билось от воды к небу и от леса к лесу до тех пор, пока, обессиленное, не утонуло в плеске невидимой воды.

Горобко еще раз прошелся по палубе, натолкнулся на высокого черного чуть-чуть прихрамывающего человека, который попросил у него

закурить. Горобко, как истый джентльмен, не дал закурить от своей папиросы, а чиркнул спичку, и, прикуривая, черный человек внимательно рассматривал и точно определял по кобуре систему и количество зарядов его револьвера. Потом, поблагодарив, отошел, а удивленный Горобко увидел, как человек, постояв около перил, бросил папиросу, не раскуривая, за борт. Из этого Горобко заключил, что человек вовсе не курит, а подходил, очевидно, совсем не для этого.

Десять минут спустя он заметил этого же человека в обществе господина с трубкой. Они стояли на границе палубы II и III класса и о чем-то разговаривали. Пока они разговаривали, к ним подошел какой-то мужичок и тоже попросил закурить. Закуривая, он обменялся с ними несколькими фразами, затем отошел, сел на лавку и, бросив на пол цигарку, затоптал ее ногой. И все это, а также сообщение унтера о человеке, потерявшем ус, повергло пристава в некоторое тревожное состояние.

«Что за чертовщина, — подумал он, — тот закурил — в воду бросил, этот ногой затоптал. Тут что-то не то». И Горобко твердо решил, добравшись до Оханска, вызвать наряд жандармов и устроить проверку документов у странных

курильщиков. Затем он ушел к себе в каюту, разделся и лег спать.

Сколько он спал, определить было трудно, но проснулся он оттого, что пароход загудел вдруг короткими, тревожными гудками и вверху раздалось несколько гулких выстрелов. Горобко в одном белье выскочил в коридор. Он слышал, как на палубе и где-то рядом кричали несколько голосов, затем ахнул еще выстрел, кто-то завопил громко:

— Давай, лови теперь пристава, его каюта здесь!

Горобко испуганно заметался. Увидев полуоткрытую дверь первой каюты, из которой выглядывала испуганная суетой и шумом какая-то старая барыня в ночном пеньюаре, он, не раздумывая, отдернул дверь и, не взирая на отчаянные крики перепуганной мадам, как был, в одном белье, так и впрыгнул к ней. Захлопнув за собой дверь, крикнул ей:

— Молчи, старая чертовка, или ты не слышишь, что на пароходе бунт!..

Через дверь было слышно, как в соседнюю каюту ворвалось несколько человек, затем кто-то крикнул:

— Его здесь нет, он, должно быть, у капитана,

сукин сын! — И все вломившиеся быстро бросились назад.

Пароход все ревел и шел, ускоряя ход, вперед. Вверху стреляли и кричали, а Горобко и старая мадам, надевши наспех набок парик, молча сидели и глупо смотрели друг на друга. Вдруг раздался сильный взрыв, точно наверху кто-то бросил бомбу. Тревожные гудки сразу прекратились, корпус задрожал, послышался лязг сброшенного якоря, гул машин смолк, пароход сразу остановился. Потом раздался еще более сильный взрыв, и кто-то громко сверху закричал:

— Давай спускай!.. — И тотчас же заскрипели блоки спускаемой на воду шлюпки.

А на палубе в это время орудовали под командой Ястреба Сокол, Демон, Сашка, Султан, а из женщин — эсерки Ангелина и Марта и еще несколько лбовцев, переодетых мужиками, — всего двенадцать человек.

Ястреб, не выпуская изо рта трубки, а из зажатых кулаков револьверы, отдавал короткие и быстрые распоряжения. Он приказал бросить бомбы в машинное отделение, когда пароход отказался остановиться. Он же застрелил жандармского унтер-офицера и одного из полицейских, прежде чем те успели попасть в кого-либо

из своих больших «смит-вессонов».

Всем пассажирам, не закрывшимся в каютах, было приказано лечь и не шевелиться, и пароход сразу, как будто бы после повальной болезни, вымер и покрылся распластавшимися людьми, которые лежали до тех пор, пока Демон не вернулся из почтового отделения с кипой засунутых в сумку денег, из-за которых им и его товарищами было разрезано свыше пятисот ценных пакетов.

После этого в спущенную лодку сошли все лбовцы. Последним сошел Ястреб. И четыре весла дружным ударом по волнам рванули лодку к далекому еще берегу. Но едва только они успели отъехать несколько сажен, как винт с шумом заработал: освобожденный пароход заревел и начал медленно поворачиваться носом в сторону отъезжающих.

— Потопить хотят, — сообразил Ястреб.

И все лбовцы поняли это, и весла чуть не гнулись под рывками мускулистых рук, и все с замиранием сердца смотрели на острый нос взявшего полный ход парохода.

«Сейчас прорвет якорную цепь и потопит», — подумал опять Ястреб и приказал открыть огонь по капитанской рубке.

Вспугивая прибрежных птиц, жирно хлопаю-

щих крыльями, загрохотали выстрелы. Пароход отошел на всю длину распущенной якорной цепи, рванулся… И сразу замедлил ход, потому что якорь лежал, очевидно, на мягком песчаном дне и ему не за что было зацепиться, и цепь не порвалась, а потащила за собой якорь, тормозя ход.

Это и спасло лбовцев. Лодка со свистом врезалась в отлогий берег недалеко от селения Ново-Ильинского. И перепрыгивая через теплую плескающуюся воду, все повыскакивали, бросившись к кустам, где их ожидали уже готовые подводы с местными мужиками. Взвалили сумки, забрались на охапки душистого, покрытого утренней росой сена, и лошади быстро понесли их прочь по направлению к пермским лесам.

Из-за смеющегося горизонта брызнули полосы вынырнувшего солнца, и волны Камы заплескались русалочьим смехом.

В эту минуту Ястреб в мчавшейся телеге закуривал трубку, Демон считал деньги, Гром снимал с лица грим.

А на палубе парохода стоял в наспех одетых брюках пристав Горобко и занимался самым бесполезным в этот момент делом: он поднимал кулаки и, глядя вслед уезжающим, посылал страшные проклятия Лбову и всем потомкам его

до десятого поколения включительно.

16. Начало конца

После неудач с операциями против Лбова, после сильного надлома, который пережил Астраханкин, понявший, что Рита держит связь со лбовцами, он, не будучи в силах вынести нависшего над ним тяжелого кошмара, подал рапорт с просьбой о переводе его из Перми в какую-либо другую воинскую часть.

У Астраханкина ни на минуту даже не мелькнула мысль выдать Риту полиции. Астраханкин простил бы Рите ее взбалмошный поступок, если бы он не чувствовал, что связь Риты со лбовцами вызвана особенно мучительною для него причиной.

Он получил назначение в Вятку.

Был вечер, когда он пошел прощаться с ней. Это был не прежний казачий офицер, рассыпавшийся в звонах шпор. Его лицо обветрилось, его глаза помутнели, и, вместо обычного роскошного бешмета с красным башлыком, на нем была простая черная черкеска, и только один его любимый серебряный кинжал поблескивал с тоненького пояса, крепко охватившего талию.

Рита была в саду.

Первые несколько минут они оба молча сидели на скамейке и не могли заговорить, так как оба хорошо чувствовали, что между ними теперь лежит огромная пропасть, на дне которой — пермские леса, дымные костры и черный призрак атамана Лбова. Они перекинулись несколькими фразами, ничего не значащими, и Астраханкин, встретив перед собой крепко замкнувшуюся в кольцо душу Риты, встал уже затем, чтобы уйти, но не выдержал, повернулся и спросил ее глухо и не глядя ей в глаза:

— Рита, зачем это все? Разве теперь лучше, чем было?..

Но Рита посмотрела на него прямо и ответила не враждебно, не вызывающе, а просто и мягко, как говорят люди, испытавшие и пережившие многое, маленьким детям:

— Вы не поймете. Мне все здесь так надоело, так опротивело. Впрочем, добавила она еще мягче, — не будем об этом говорить, и… прощайте.

Астраханкин, крепко стиснув, поцеловал ее руку, быстро, по-казачьи повернулся и, наклонив голову, торопливо, точно опасаясь, чтобы Рита не увидела его лицо, прыгнул в кусты.

В этот же вечер Рита встретилась с Лбовым. Это было недалеко от архиерейской дачи. Лбов был

сильно занят, но, несмотря на это, он проговорил с ней с полчаса. Он сидел на огромном спиленном дереве, а Рита стояла. Рита просила его принять ее к нему в шайку, но Лбов опять резко отказал:

— Нам вовсе не по дороге. Мы на все это идем из-за того, что нам надоело быть каторжниками, надоело вечно работать на кого-то и не видеть никакого просвета, а вам… Вам-то чего нужно?

— Мне тоже надоело… — начала было Рита, но оборвалась, потому что подумала: как сказать, как заставить понять его, что ей надоело прямо противоположное тому, о чем говорил он. Как объяснить этому человеку, не бывавшему никогда в обстановке спокойной, изящной жизни, что и эта жизнь может осточертеть…

— Буржуазия грабит народ, стало быть, и ты грабишь, — раздражаясь, перешел Лбов вдруг на «ты».

— Но я же не граблю и не грабила, — ответила Рита.

— Грабила, — упрямо повторил Лбов, — и ты, и отец твой, и вся твоя родня, и все, все вы одного полета. Откуда у вас деньги? У нас так: если не ограбишь, так нету денег. И у вас тоже… Но мы грабим только по необходимости, потому нас жизнь забросила на такую дорогу. Ты думала ко-

гда-нибудь, что у тебя вон коня убили прошлый раз, а сегодня ты на новом гарцуешь, а мужик если имел лошадь, да сдохни она, значит, ему и самому ложись и помирай?

— Но как же, как же переделать это все? — горячо спросила Рита, ошеломленная наплывом новых мыслей.

— Как? Да очень просто… — Лбов запнулся. — Как? Я и сам не знаю как. Вон Стольников у меня думал все как, да как, вчера с ума от этого сошел.

В это время Лбову сказали, что он очень нужен. Прощался на этот раз Лбов с Ритой без открытой враждебности, но нотки холодности не оставляли его до последней минуты.

Рита не сразу поехала домой.

На одной из лужаек она спрыгнула с лошади, бросилась на траву и долго лежала, точно пригвожденная к земле острыми лучами звездного света.

— Я пойму наконец, пойму, — шептала она, улыбаясь, — пойму, что ему нужно, чего он хочет, и тогда я добьюсь все-таки того, что он возьмет меня к себе.

«Грабители», — вспомнила вдруг она слова Лбова и опять улыбнулась, представляя себе толстенькую фигурку своего облысевшего отца,

любящего сходить в балет, сыграть в преферансик и плотно покушать. Но она вспомнила убитую Нэллу и, точно по волшебству, выросшего на другой день в ее конюшне коня и на этот раз не улыбнулась — почувствовала, что у Лбова есть своя невысказанная, неоформленная, но горячая правда.

А в это время Лбову принесли три тяжелых известия.

На станции полиция по указке одного из лбовцев-провокаторов арестовала Фому.

У Ворона, опять не поделившие что-то, несколько человек убили друг друга.

Моряк ограбил деньги крестьянской потребиловки.

И Лбов остро почувствовал вдруг, как поляна под ним дрогнула, колыхнулась, будто это была не лесная поляна, а плот, брошенный на волны седой Камы.

…С арестом Фомы, умевшего как нельзя лучше улаживать всякие вопросы с подпольной Пермью, у Лбова, не знающего, чего он, собственно, сам хочет, порвалась всякая связь с революционной партией. Бесцельные грабежи начали входить в систему, и тщетно Лбов со своими помощниками пытался установить порядок,

дисциплину.

Он заколол штыком однажды Моряка, убил Зацепу, убил Великоволжского, начинавших предаваться разнузданному грабежу, и выработал даже нечто вроде устава «Первого революционного партизанского отряда». Но ничто не помогало.

Лбова погубила его оторванность от подпольной рабочей массы, его анархичность и его собственная слава, так как со всех концов Урала к нему начали стекаться неустойчивые, чуждые делу рабочего класса элементы, желающие хотя раз в жизни погулять, повольничать, пограбить, пострелять в ненавистную полицию, но совершенно не задумывающиеся о конечных целях вооруженного восстания.

Лбов пользовался огромным авторитетом среди рабочих как организатор, как человек, показавший, что в душе придавленного народа тлеет острая ненависть, которая готова вот-вот прорваться наружу, но Лбов и оттолкнул от себя всю сознательную массу тем, что он сам не знал, куда, зачем и во имя чего он идет.

Деньги теперь были. На пароходе «Анна Степановна» Ястреб захватил более тридцати тысяч рублей. Оружие было, так как из Петербурга нелегальным путем пришла его целая партия.

Люди были, потому что каждый новый день увеличивал шайки на десяток новых партизан. Но о взятии Перми нечего было думать. Не было одного, и самого главного, — не было единой руководящей идеи, во имя которой можно было бы решиться на такой шаг, могущий при данных условиях, при данном составе шаек вылиться в открытый и разнузданный разгром Перми.

И Лбов видел это. Лбов чувствовал, как шайки начинают управлять им, а не он ими. Внешне все было как будто бы по-старому: каждое его приказание исполнялось при нем моментально, перед ним трепетали даже отпетые, бежавшие из тюрем уголовники. Никому и в голову не могло прийти ослушаться его слова, его радостными криками встречали во всех отрядах. Но едва только он отворачивался, как начиналось совершенно другое.

В октябре Лбов еще раз созвал наиболее преданных ему товарищей и вместе с ними решился на целый ряд крутых и жестоких мер. Он запретил принимать кого бы то ни было в отряды; он приказал расстреливать всех бандитов, действующих под именем лбовцев; приказал прекратить на время всякую экспроприаторскую работу, уйти в леса, заняться постройкой зимних квартир

и дать передохнуть населению от постоянного свиста пуль, набегов жандармов, массовых арестов и провокаций с тем, чтобы после этой передышки, весною, с ядром из крепко сколоченного, выдержанного отряда поднять настоящее революционное восстание.

Но было уже поздно. До полиции через провокатора дошли об этом сведения. Она переполошилась, когда узнала, что Лбов собирается вводить дисциплину, ибо ее ставка была на подрыв авторитета Лбова в глазах населения — ставка умная и правильная.

Через несколько дней после получения сведений от провокатора была послана срочная шифрованная телеграмма в Петербург, и еще через несколько дней был получен особо секретный, шифрованный ответ, гласящий, что охранное отделение предпринимает последний и самый решительный удар по Лбову с той стороны, откуда он меньше всего его ожидает.

Октябрьским темным, шуршащим листьями вечером скорый поезд из Петербурга доставил в Пермь хорошо одетого, закутанного в широкий зеленый плащ человека.

Это был не простой человек, не простой провокатор охранки, не простой жандармский

шпик, — это был член ЦК партии эсеров, талантливейший шеф провокаторов Российской империи — Эвно Азеф.

Уже через три дня он виделся со Лбовым. Свидание происходило в Мотовилихе, на квартире одного из старых эсеров. Азеф был человеком, авторитет которого стоял очень высоко в глазах Лбова, ибо Азеф был сам боевиком, старым боевиком, известным всей подпольной и революционной России.

Разговор у них был недолгий, Азеф пообещал пополнить отряд Лбова к следующей весне опытными идейными инструкторами с тем, чтобы поднять уровень сознательности лбовцев. А пока предложил ему произвести крупную, последнюю экспроприацию в Вятке, чтобы отвлечь внимание полиции туда. После некоторого колебания Лбов согласился.

Азеф порекомендовал тогда ему в помощники некоего Белоусова, как опытного боевика, за которого можно было поручиться во всем. Они распрощались, и в ту же ночь скорым поездом Эвно Азеф уехал обратно в Петербург.

Великий провокатор сделал свое дело.

17. Смерть Змея

Это было почти перед самым отъездом, когда Лбов в последний раз сидел со Змеем под старой, искореженной годами осиной, точно с прощальной ласковостью осыпавшей их тихо падающими пожелтевшими листьями.

— Ну, мне пора идти. — Лбов поднялся. — Прощай, Змей. Я думаю, мы скоро опять увидимся, мне ведь всегда удача.

— Удача раз, удача два… — начал было Змей, потом вскочил, схватил обе руки Лбова, и, весь дергаясь лицом, переплетенным сетью нервов, преданный и верный Лбову Змей заглянул ему в лицо и с ужасом, точно открывая что-то новое, сказал сдавленным голосом Лбову:

— Сашка, а ведь тебя скоро убьют, должно быть.

— Почему скоро? — усмехнулся тот.

— Так, — ответил Змей, не выпуская его рук. — Так, уж очень кругом какой-то разлад пошел, в общем, что-то не так. Помнишь, как мы начинали и какое это было время?

Змей замолчал, и лицо его задергалось еще больше. Он выпустил руки Лбова и своими жел-

тыми некрасивыми глазами заглянул в глубину этого счастливого для него времени.

Змей был когда-то парикмахером. В японскую войну его контузило снарядом, потом, невзирая на его болезненное состояние, его отдали в арестантские роты за то, что во время бритья конвульсивно дернувшейся рукой он едва не перерезал горло одному подполковнику.

И душа у Змея была серая с зеленым, а жизнь была у Змея до побега из тюрьмы — серая с грязным. И вполне понятно, что в его болезненно кривляющейся от снарядных и нагаечных ударов душе, в озлобленной и изломанной, самыми лучшими днями были дни, проведенные возле крепкого, прямого и сильного Лбова.

Лбов ушел, а Змей долго еще сидел на краю придорожной канавы, обрывал кусочки ветки и бросал их наземь, бросал и улыбался… А может, и не улыбался, потому что у его лица никогда не было хоть на минуту установившегося выражения. И хвойные ветки падали на дорожную пыль, пахнущие, смолистые, точно те, которые бросают за гробом умершего.

Вдруг Змей насторожился и, скользнув в канаву, вытянулся плашмя. По дороге ехал патруль из четверых ингушей. Может быть, они и проехали

бы, не заметив его, но одна из лошадей испугалась чего-то, оступилась в канаву и придавила ногу Змею.

Взбешенный Змей вскрикнул и, вскочив во весь рост, выстрелил из маузера — свалил одного ингуша, отскочил за канаву, выстрелил — попал в голову лошади другого, и только что хотел приняться за третьего, как земля на краю канавы под его ногами обвалилась, и, поскользнувшись, он упал. Хотел подняться, но в это время ингуш с хищно-орлиным носом и узкими, стальными глазами взмахнул пикой и сквозь серую рубаху, сквозь спину пригвоздил Змея крепко к земле…

Пика глубоко ушла в землю, стояла прямо, и Змей, крепко насаженный на синюю сталь, искорежившись, повернулся полуоборотом, концами пальцев распластанных рук судорожно врылся в мякоть придорожной пыли и умер с открытыми, желтыми, сухими глазами, в которых не было ни слез от боли, ни ужаса от смерти, а была только змеиная ненависть.

18. Арест

В февральский метельный день, когда Пермь, покрытая шапкой плотных сугробов, начинала загораться вечерними огнями, Рита, закутавшаяся в мягкий воротник своей шубы, шла неторопливо домой, подставляя свое лицо мелким снежинкам, поблескивавшим искорками от света уличных фонарей. У самого крыльца она заметила, как ее отец торопливо вбежал на лестницу, открыл ключом дверь и почти перед самым ее лицом захлопнул дверь.

Рита позвонила.

Удивляясь такому странному возбужденному состоянию всегда спокойного и уравновешенного отца, она прошла к себе в комнату, села на диван и принялась читать книгу далеко не похожую на те, которые ей приходилось читать раньше, в которой каждая строчка ошарашивала своими выводами, новыми и не всегда понятными Рите.

Через час ее позвали к чаю, за столом она встретилась с отцом, который, будучи, очевидно, в превосходном состоянии духа, крепко поцеловал ее в лоб и спросил, как всегда:

— Ну, как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, — улыбнулась Рита. — Отчего бы мне плохо чувствовать?

— Ну вот, ну вот, — обрадованно заговорил ее отец, с аппетитом проглатывая бутерброд и запивая его крепким чаем. — Я очень рад. Вообще сегодня такой замечательный день. Ты знаешь, Риточка, мы сегодня получили приятное сообщение, очень приятное: у губернатора как гора с плеч свалилась. Знаешь про этого?.. Про разбойника Лбова?

— Ну, — полушепотом переспросила Рита, отодвигая стакан и чувствуя, как серебристый блеск бисерной бахромы от лампы засыпает ей глаза стеклянными искрами.

— Ты знаешь, мы только что получили сообщение из Вятки, что он наконец арестован… но что, что с тобой?

— Ничего, — резко и вздрагивая ответила Рита. — Ничего. — А серебряная ложечка в ее руке, точно ожившая, начала перегибаться и плясать, крепко стиснутая ее тонкими, сильными пальцами.

— Рита! — испуганно крикнул ее отец. — Рита, что с тобой?

Рита ничего не сказала, встала, шатаясь, пошла к двери своей комнаты, зацепила столик

с огромной китайской вазой, и ваза с грохотом полетела на пол, и мелкие осколки разлетелись по паркетному полу. Рита захлопнула за собой дверь, заперла ее на ключ и, бросившись на диван, истерически разрыдалась.

Это были не просто слезы, слез было совсем мало, — была петля, крепко окутавшая ее, сдавившая горло, жадно тянущееся к воздуху, был туман, плескавшийся в глаза, был судорожный зажим пальцев, пытающихся разорвать кольцо, крепко стягивающееся вокруг нее, но кольцо было неуловимо, оно не рвалось, и только ворох платья, только кружевные девичьи подушки измочаливались и нарастали на кровати белой лоскутной пеной.

В дверь стучались, отец требовал, чтобы она открыла, говорил, что пришел доктор, убеждал, просил, но Рита послала всех к черту.

Тогда кто-то стал выламывать дверь.

Рита, не вставая с кровати, протянула руку к ящику письменного стола и, выхватив оттуда браунинг, бабахнула им по верху двери и крикнула, что если ее не оставят в покое одну, то она выстрелит и по низу. За дверью смущенно зашептались, потом кто-то, вероятно доктор, сказал: что, пожалуй, правда, самое лучшее будет дать

ей остаться на некоторое время одной и успокоиться, и от дверей ушли.

Лбов был арестован при следующих обстоятельствах.

Белоусов, которого рекомендовал ему Азеф, оказался провокатором. Он долго выжидал момента, когда Лбов останется один, и однажды убедил его съездить в Нолинск для того, чтобы завести связь там с несколькими видными приехавшими туда большевиками.

Когда Лбов шел по улице в Нолинске, Белоусов внезапно куда-то исчез, а из-за угла вылетело около десятка конных жандармов, несшихся во весь опор на Лбова.

Лбов не растерялся, выхватил маузер и начал крыть по всему десятку. Не ожидавшие такой встречи, жандармы дрогнули, бросились было врассыпную. И никогда бы нолинским жандармам не захватить Лбова, если бы верный маузер, служивший долгую огневую службу Лбову, не изменил на этот раз, если бы маленький стальной кусочек выбрасывателя не сломался, — патрон застрял в канале ствола. Лбов рванул раз, рванул два, но патрон срывался со сломанного зубца.

Он бросился было к воротам одного дома, но ворота были заперты, а через забор он не успел

перескочить, потому что налетевший стражник сшиб его конем с ног. Лбов упал, поднялся снова, но в это время кто-то сильно ударил его по голове и кто-то крепко завернул ему руки назад. И если бы один, если бы два, — а то много-много…

Звякали от радостных сигналов телеграфные провода, неслись во все стороны города патрули, распахивались двери нолинской тюрьмы, входили туда сначала отряды новых стражников, потом вели под стражей закованного в цепи Лбова, и кольцом вокруг тюрьмы встали стражники.

А телеграфные провода пели: «Вятка — Петербург — охранка», а из Петербурга: «охранным всех городов: срочно, срочно, секретно, ключ: двуглавый орел, 22… 16… 34… 25… 17… тчк 37… 42… зпт…», и шифрованные телеграммы сообщали охранкам всей России, что разбойник Лбов пойман.

Выезжали в Вятку жандармские полковники из Петербурга на следствие, и старые генералы везли в Вятку повышения, назначения и ордена за долгожданную поимку одного из самых заклятых врагов самодержавия.

Через несколько дней, часов около трех дня, Рите доложили, что ее хочет видеть человек, называвшийся титулярным советником Чебуты-

киным, который, несмотря на уверения в том, что его не примут, категорически настаивал, чтобы его сейчас же пропустили к Рите.

— Чебутыкин, — вспомнила Рита, — Чебутыкин, какой такой Чебутыкин? А-а, это, наверное, тот, которого Лбов тогда ограбил. — Она попросила привести его.

Вошел Феофан Никифорович, испуганный, и, осторожно озираясь вокруг, сообщил Рите, что на улице с ним случайно встретился человек, в котором он узнал одного из своих знакомых.

— То есть не знакомых, — поправился он, — а знаете, из этих… — он снизил голос до шепота, — из лбовцев.

Лбовец приказал ему идти и вызвать дочь управляющего канцелярии губернатора.

— Я было начал отказываться — неудобно, мол, мне, но у них, сами знаете, чуть что — и руку в карман.

Рита недоверчиво посмотрела на него и спросила просто:

— А почему это они доверяют так вам?

Чебутыкин смутился, он ничего не ответил на этот прямо поставленный вопрос, а сказал, опуская голову в затрепанной чиновничьей фуражке без кокарды, из-под которой начали пробиваться

жиденькие поседевшие волосы:

— Отчего меня опасаться, человек я маленький, со службы меня выгнали за то, что лбовцы меня грабили всегда, а сам-то он, Лбов, когда узнал об этом, так мне завсегда поддержку оказывал, потому что жена у меня, ребятишки к тому же, и потом, хотя я не люблю выстрелов, всяких бунтов, так как человек я не военный, а мирного происхождения, но разве же я могу быть за полицию?

В осунувшихся чертах его лица, в тени его глаз Рита уловила что-то искреннее и оживилась. Она вышла с ним вместе на улицу. Чебутыкин пожал ей руку и пошел торопливо в своем ватном пальтишке с единственной уцелевшей медной пуговицей прочь, боком, с опаской проскользнув мимо маячившего на углу полицейского.

Риту вызвал Гром. Гром подтвердил, что Лбов действительно арестован, сказал, при каких обстоятельствах, и попросил, чтобы она объяснила план квартиры губернатора, которого лбовцы решили захватить заложником и требовать взамен его выпуска Лбова. Рита рассказала ему и, вся охваченная надеждами, что, может быть, Лбова удастся спасти, долго не могла уснуть в эту ночь.

Но через несколько дней надежды ее рухнули, потому что Болтников, губернатор Перми, осу-

нувшийся от постоянных выговоров, приказов, разносов из Петербурга по поводу неумения и бездеятельности, из-за которой до сих пор не могли захватить Лбова; губернатор, до которого дошли слухи о том, что его собираются захватить заложником, написал письмо, перепечатал его во многих экземплярах и приказал раздать в Мотовилихе с тем, чтобы письмо попало в руки оставшихся лбовцев.

В письме говорилось, что он, губернатор, твердо решил, даже в том случае, если его захватят заложником, настаивать на том, чтобы суд над Лбовым шел своим чередом и что о его судьбе пусть правительство не беспокоится.

Был он стар, но был он по-своему и честен, и тверд — это один из верных сторожей самодержавия, один из преданнейших слуг всероссийского государя императора.

19. Последняя попытка Риты

Лбова, закованного в цепи и, кроме того, прикованного цепью к каменной стене, допрашивали прямо в его камере из боязни, чтобы по пути в следственное отделение суда кто-либо из лбовцев не попытался отбить его у полиции. Охрана тюрьмы была увеличена, во всех окружающих домах были поставлены шпики, и ежедневные наряды жандармов обходили двери, открывали погреба: они боялись, что под тюрьму будет сделан подкоп с целью взорвать ее и во время взрыва освободить Лбова.

«Сегодня десять человек неизвестных прибыло в город», — сообщало охранное отделение, и напуганные жандармы нервничали, требовали ускорения суда, вызывали новые части, как будто бы город был в крепко обложившем его вооруженном кольце.

На допросах Лбов не сказал ничего. Он не выдал ни одного человека, не указал ни одной явочной квартиры, ни одного склада оружия. Лбов отказался от заключительного слова на суде, и защитник один без толку взывал к милосердию судей, которого не могло и не должно было быть.

Лбов хмуро, молча смотрел по рядам зрителей, впившихся в него жадными глазами, и как бы отыскивал кого-то. Его равнодушно-усталый взгляд не находил ни искорки чьего-либо участия в жадных до зрелищ лицах присутствующих. Опуская глаза на свои ржавые, крепко охватывающие его кандалы, он вдруг чуть откинул голову назад, вздернул брови, пристально посмотрел в угол, и нечто вроде слабой, мягкой улыбки скользнуло по его губам.

В углу, закутанная в темный платок, темными пятнами бессонных глаз ободряюще, ласково смотрела на него женщина. Это была Рита. Она приехала в Вятку. После долгих хлопот через некоторых влиятельных генералов, друзей своего отца, ей удалось добиться разрешения присутствовать на суде.

И Лбов, который крепко выдерживал на своих плечах свалившуюся на него тяжесть, возле которого не было сейчас ни одного человека, могущего принять на себя каплю тяжести его последних часов, Лбов искренне обрадовался, когда увидел здесь Риту. Он молча смотрел на нее и как бы сказал ей глазами: «Спасибо, передайте все, что вы здесь видели и слышали, моим товарищам».

И Рита слегка наклонила голову, точно давая

понять ему, что она его поняла, и тотчас же накинула на себя дымку вуали, чтобы не показалось странным окружающим, как крупная слеза скатилась вдруг с глаз молодой аристократки.

Это был последний взгляд, которым обменялась Рита со Лбовым, потому что в следующую минуту прочитали о том, что государственный преступник и разбойник Лбов, за содеянные им по статьям таким-то (бесчисленный перечень) преступления, приговаривается к смертной казни через повешение.

Жандармы еще крепче сомкнулись вокруг и заслонили приговоренного Лбова. Тотчас же распахнулись позади судейского стола двери, и через две шеренги вооруженной стражи, взявшей винтовки наперевес, тяжело звякая цепями, в последний раз пошел по дороге к тюрьме Лбов.

Когда тяжелые ворота тюрьмы запахнулись за скованным Лбовым, Рита, молча провожавшая взглядом ушедших, подошла к углу и, не будучи в силах идти дальше, не зная куда и зачем идти, оглянулась, нет ли где-нибудь поблизости извозчика. Но извозчика не было. Рита чувствовала, что у ней кружится голова, она остановилась и слегка прислонилась к какому-то дереву, чтобы не упасть.

— Вам нехорошо, сударыня? — послышался позади нее знакомый голос.

И, обернувшись, Рита увидела перед собой Астраханкина, не узнавшего ее из-за густой, спущенной вуали.

— Рита! — крикнул вдруг он радостно. — Рита, это вы? Я так рад, так рад вас видеть! Но как вы сюда попали? — И он замолчал, вдруг удивился своей недогадливости, взял ее под руку, и они вместе прошли еще несколько кварталов, потом взяли извозчика и уехали в гостиницу, где остановилась Рита.

Когда, снимая шляпу, Рита откинула вуаль, Астраханкин отошел даже на шаг, удивляясь, какая огромная перемена произошла с лицом Риты.

Рита в эту минуту была очень хороша. Под ее глазами темными пятнами залегли бессонные ночи, она была бледна, и сквозь боль, которая сказывалась в каждой черточке ее лица, она старалась улыбаться, чтобы не показать Астраханкину, что было у нее в эту минуту на душе.

Они разговорились как старые хорошие знакомые, но оба умышленно не затрагивали вопроса о Лбове, хотя у обоих, по разным причинам, Лбов не выходил в эту минуту из головы. Астрахан-

кин, близко сидевший около Риты, глядел на ее побелевшие губы, на кольца черной, чуть-чуть растрепанной, прически. И Астраханкин чувствовал, что он говорит не то, что надо, а надо сказать многое-многое.

Надо сказать ей опять о том, как он любит ее, и о том, что теперь все кончено, и Лбова на днях повесят, что от человека, так властно вставшего между ними, от грозы Урала останутся только тени в прошлом, да громкая слава, да проклятия полиции, да, может быть, воспоминания мотовилихинских, полазнинских, чермозских и других рабочих…

— Ну, мне пора, Рита, — вставая, сказал он с большой неохотой. Скажите, когда к вам можно зайти? Завтра я непременно, непременно хочу еще раз вас видеть, а сейчас у меня смена караулов.

— Где? — крикнула Рита.

И Астраханкин, поняв, что он сказал больше, чем было нужно, замолчал было, но, повинуясь устремленным на него загоревшимся глазам Риты, он ответил, опуская голову:

— При тюрьме. Сегодня от нашего полка наряд, и я назначен караульным начальником.

Рита крепко стиснула ему обе руки и, усадив

его на диван, внезапно вдруг вскочила к нему на колени, обхватила его шею и посмотрела ему в глаза — в этом молчаливом взгляде было столько ясной, четкой, огромной просьбы, граничащей с унижением и с приказанием…

— Нет, — глухо сказал Астраханкин, — я знаю, что вы хотите. Нет, Рита, этого нельзя.

Рита еще крепче обвила руками его шею и, вся страстно прижимаясь к нему, заговорила горячо:

— Милый, устройте ему побег, вы же все можете, я же знаю — весь караул в ваших руках. Мы все втроем убежим за границу, и я клянусь вам, клянусь, что тогда я буду ваша, а не его… Ведь между нами ничего нет, и он совсем, совсем не любит меня. Мы даже уедем от Лбова в другой край, в другую часть света уедем от него. Я обещаю вам это искренне, и как никому и как никогда.

— Нет, — еще глуше проговорил Астраханкин. — Это не нельзя, а это невозможно, потому что у меня только внешний караул, а помимо этого есть внутренний, который не выпустит никого из тюрьмы без тщательного осмотра, и, кроме того, в камере у Лбова постоянно дежурят жандармы.

Рита скользнула на диван и, положив обе руки на спинку, наклонила к ним голову.

— Тогда, — начала она снова, — тогда передайте ему от меня письмо, это вы можете, это моя последняя просьба к вам, в которой вы не можете мне отказать.

— Хорошо, — совсем тихо, почти шепотом ответил Астраханкин, — письмо я передам.

Рита подошла к столику, нервно оторвала клочок от большого листа бумаги и написала на нем несколько слов. Потом запечатала его в конверт и отдала Астраханкину, который сидел, облокотившись руками на эфес шашки, с головой, опущенной вниз, и глазами, тускло отражающими желтые квадратики паркетного пола.

Рита подала ему письмо, он протянул руку и сунул его в карман. Все это он сделал так машинально, что Рита спросила его тревожно и возбужденно:

— А вы передадите его? Дайте мне честное слово, что это письмо будет у Лбова.

И Астраханкин встал и, вежливо щелкая шпорами, так же как и всегда, но только с ноткой холодности, за которой была спрятана боль, ответил ей:

— Даю вам честное офицерское слово, что это письмо будет у Лбова.

Потом он взял ее руку и, прощаясь, поцеловал

крепко-крепко и твердо, как и всегда, повернулся и вышел за дверь.

Дальнейшее можно узнать из рапорта командира Вятского полка губернатору:

«…караульный начальник, офицер Вятского полка, в два часа дня, обходя постовых тюрьмы, потребовал у тюремного смотрителя, чтобы тот отпер камеру, в которой содержался преступник Лбов. Мотивировал это тем, что ему нужно произвести проверку жандармов, сидящих в камере с Лбовым.

Ничего не подозревавший смотритель заметил ему, что охрана в камере подчиняется исключительно начальнику тюрьмы, которого в настоящую минуту нет, но офицер настаивал, и, не видя в этом требовании ничего противозаконного, смотритель открыл ему дверь. Тогда офицер попросил охраняющих жандармов выйти и оставить его вдвоем с преступником Лбовым и на отказ последних выругал их и выгнал пинками за дверь. После всего этого, оставшись наедине с Лбовым, он пробыл в камере около пяти минут.

Дежурный надзиратель смотрел в окошко и видел, как офицер передал Лбову письмо, которое тот прочитал, разорвал, улыбнулся и сказал:

— Передайте ей от меня спасибо и скажите, что

я теперь верю ей.

После чего офицер встал, попрощался за руку с разбойником Лбовым и вышел, не отвечая ни на какие расспросы, и через некоторое время сообщил, что ему нездоровится, передал начальство над караулом своему помощнику, а сам уехал к себе домой.

Явившийся к нему через два часа наряд с тем, чтобы арестовать его за совершенный проступок, нашел дверь запертой и, взломавши таковую, увидел офицера лежащим в полной форме на ковре у письменного стола с наганом, зажатым в руке, и с простреленной головой. На столе лежала ручка и несколько листов разорванной на клочки бумаги. По ним, кому они были писаны, понять невозможно, потому что только на одном из них сохранилось несколько слов „в этом у нас одно… вы его, а я вас“. Больше никаких следов, могущих пролить свет на это загадочное обстоятельство, не найдено…»

20. Казнь

Мягкой мартовской ночью, когда влажная земля, чуть подогретая солнечными лучами за день, начинала снова затягивать грязный снег пластинками в льдинки, в мартовскую темную ночь, когда еще не весна, но весна уже близко, в пять часов, когда еще не утро, но рассвет уже подкрадывается к горизонту, когда в узком окошке камеры, в которой сидел последние часы Лбов, запыленные стекла через решетку светились лунными отблесками, туманными из-за пыли, плотно облепившей решетчатое окно, в коридоре послышались шаги.

«Сейчас будет конец, — подумал Лбов, — это, наверное, за мною».

Он встал, шагнул раз, и в мертвой каменной тишине запели железным лязгом кандалы, и цепь, приковавшая его к стене, одернула его за спину сильно и сказала ему насмешливым звоном: стой!

Захлопали засовы, зашуршала открываемая дверь, и к нему вошел священник. Лбов никак не ожидал видеть священника, ему в голову не приходила ни разу мысль о том, что кто-то должен

еще прийти к нему, для того чтобы заставить его покаяться перед тем, как попасть в руки палачу. Он сел обратно на скамейку, скривил губы, презрительно усмехнулся и спросил спокойно:

— Тебе какого черта, батя, надо?

Священник, никак не ожидавший услышать такое обращение со стороны человека, готовящегося предстать перед судом всевышнего, обозлился сначала, но не сказал ничего, а подошел к Лбову на такое расстояние, чтобы тот не мог броситься к нему из-за приковывающей его цепи, и начал казенным елейным голосом привычное, заученное обращение:

— Покайся, сын мой, в грехах своих, ибо настанет час расчетов с здешней суетной жизнью.

Но Лбов не имел ни малейшего желания заниматься покаянием, он пристально посмотрел на священника и сказал холодно:

— Каяться мне нечего, просить прощения мне не у кого, я знаю, святой отец, к чему ты подбираешься, и нечего тебе богом прикрываться, а сунь ты лучше руку в карман и читай мне прямо по записке вопросы, которые тебе охранка задала.

— Безбожник, душегубец, — прошептал тот, а сам подвинулся еще на полшага к Лбову и протянул тяжелый крест к губам Лбова.

Но Лбов рывком отвернул лицо и ответил, сплевывая на пол:

— Все вы одна шайка, одна лавочка. Не был бы я сейчас к стенке прикован, я показал бы тебе раскаяние. — Он запнулся, потом плюнул еще раз на пол и сказал с открытым презрением и ненавистью: — Охранники, жандармерия в рясах.

Обозленный священник крепко выругался и с размаху ударил Лбова крестом по губам. Струйки теплой крови закапали с губ Лбова — горячие красные капли на холодное ржавое железо. Лбов крикнул, рванулся вперед так, что с шорохом посыпалась штукатурка от натянувшейся цепи, а священник в страхе отскочил к двери и захлопнул за собой дверь камеры.

Цепь на этот раз была сильней Лбова. Он сел опять и, вытирая рукой влажную от крови бороду, откинул назад голову и прошептал, просто себе говоря:

— Ну что же, ничего.

Снова застучали в коридорах шаги, на этот раз уже целого отряда, распахнулись двери, вошел жандармский офицер.

«Пришли», — подумал Лбов и опять встал: не хотел показаться им слабым и измученным.

Его окружили, сначала крепко связали ему

руки за спину, потом отомкнули цепь от стены. Лбов не сопротивлялся, потому что было ни к чему. Под сильным конвоем, мимо взявших на изготовку винтовки солдат с побелевшими лицами, Лбова вывели на тюремный двор.

Была мартовская ночь, еще не весна, но уже скоро весна, был час, когда еще не светало, но чуть заметной полоской рассвета уже начинал поблескивать горизонт.

И Лбов посмотрел еще раз на небо, по которому сигнальными огоньками перемигивались звезды, жадно хлебнул глоток сырого свежего воздуха и, наклонив голову, вспомнил почему-то воду бурливой речки Гайвы, прелые листья, из-под которых начала пробиваться молодая трава, себя, Симку Сормовца, Стольникова и разбойный свист мальчугана, вынырнувшего из-за кустов, — паренька, сообщившего о том, что боевики приехали. Весенняя вода тогда мутной стальной полоской прорезала лес, а в глубине солнечного неба блестели крыльями и перекликались задорными свистами пролетающие отряды журавлей.

Лбов поднял голову и увидел перед собой силуэт виселицы, остановился и, вкладывая всю силу, напряг мускулы, как бы стараясь разорвать опутывающие его веревки, но тотчас же убедился,

что сделать все равно ничего нельзя, что умирать все равно надо, он твердо взошел на помост. Саваном его не окутывали, а петлю набросил палач прямо на шею.

— Ну что ты теперь думаешь? — спросил у Лбова помощник прокурора насмешливо.

Палач хотел уже выбить табуретку из-под ног, но задержался на мгновение, чтобы дать возможность ответить разбойнику на вопрос его превосходительства.

Лбов повернул голову, как бы поправляя петлю, и ответил ему медленно и чеканно, сознавая, что это последние слова, которые приходится говорить ему.

— Я думаю, что мне сейчас есть, то и тебе скоро будет.

Прокурор вздрогнул, а палач испуганно и торопливо вышиб табуретку из-под ног.

По пермским лесам, по лесным тропам, по берегам Камы справляла жандармерия свой праздник. Шли аресты, работали провокаторы, то и дело тянулись партии закованных в кандалы лбовцев, то и дело распахивались ворота тюрем Приуралья, и снова жандармы ездили парами, ингуши гарцевали одиночками и полицейские выходили на посты без заряженных винтовок.

Не связанные сильной волею Лбова, неорганизованные отряды под натиском полиции и провокаторов распались, разбрелись и таяли…

Наступал конец.

Рита уехала за границу. Ей было тяжело оставаться в Перми, да и опасно было оставаться в России, ибо на допросах могла выясниться ее связь с лбовцами. В майский медовый день скорый поезд уносил ее из города. В Вятке поезду была остановка около десяти минут. Рита вышла на площадку и зажмурилась от солнца, блеснувшего ей в глаза. Рядом стоял состав, Рита пошла по перрону. Возле арестантского вагона, находящегося около паровоза, она остановилась, посмотрела в решетчатое окно и, широко открывая глаза, вскрикнула, сделав шаг вперед.

Из окна смотрел и улыбался ей приветливо худой, заросший черной бородой Демон.

— Это вы? — крикнула Рита, забывая всякую осторожность, и горячая волна нахлынувших образов ударила ей в голову.

— Это я, — ответил он ей под гудок заревевшего паровоза. — Прощайте, спасибо вам за все.

Рита добралась до своего купе, заперлась на ключ и бросилась на диван.

«Спасибо, — подумала она, — мне-то за что? — Потом вскочила, приложила лоб к стеклу вздрагивающего окна и прошептала горячо и искренне: — Милый, милый, если бы ты знал, как я тоже теперь ненавижу {их} всех!»

Декабрь 1925 — март 1926

ПРИМЕЧАНИЯ

Повесть печаталась с 10 января по 3 марта 1926 года на страницах пермской газеты «Звезда», в которой сотрудничал Аркадий Гайдар. Зачастую только что написанная им глава сразу уходила в набор и уже на следующий день появлялась в газете.

Искренняя увлеченность автора своим героем и та торопливость, с которой создавалась повесть, легко различимы на ее страницах.

Основой повести послужили события, развернувшиеся в 1905–1908 годах на Урале: вооруженное выступление против царского правительства в рабочем пригороде Перми — Мотовилихе, действия боевой дружины во главе с А.М.Лбовым, которая продолжала сражаться с жандармами и войсками после поражения восстания.

Автор использовал архивные документы, но допускал и художественный домысел. «Все главнейшие факты, отмеченные в повести, верны, но, конечно, обработаны в соответствии с требованиями фабулы. Имена главных героев подлинны», — писал Аркадий Гайдар в предисло-

вии к газетной публикации.

В 1926 году «Жизнь ни во что» вышла в Перми отдельным изданием. Книга была тепло принята читателями и литературными критиками.

«После „В дни поражений и побед“ „Жизнь ни во что“ — большая победа Гайдара — Голикова», — говорилось в рецензии, опубликованной в журнале «Книгоноша» (Москва, 1926, № 29).

Однако Аркадий Гайдар сознавал несовершенство повести и собирался ее переработать, использовав для этого и другую свою маленькую повесть «Лесные братья (Давыдовщина)», посвященную событиям того же периода.

«Когда-нибудь я все-таки — из „Лесных братьев“ и „Лбовщины“ — сделаю интересную книгу», — записал он в дневнике в 1932 году.

Т. А. Гайдар